

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ШКАТУЛКА

СВЯТОЧНЫЕ РАССКАЗЫ РУССКИХ КЛАССИКОВ



Рождественская шкатулка. Святочные рассказы русских классиков

Александр Васильевич Круглов, Иван Алексеевич Бунин, Леонид Николаевич Андреев, Софья Марковна Макарова, Александр Александрович Федоров-Давыдов, Надежда Александровна Лухманова, Дмитрий Васильевич Григорович, Аркадий Тимофеевич Аверченко, Евгений Николаевич Поселянин, Саша Чёрный, Василий Васильевич Розанов, Георгий Тихонович Северцов-Полилов, Лидия Алексеевна Чарская, Алексей Николаевич Толстой, Иван Сергеевич Шмелев, Игнатий Николаевич Потапенко, Александр Иванович Куприн, Василий Акимович Никифоров-Волгин, Наталья Ивановна Манасеина,

Клавдия Владимировна Лукашевич, Валентина Евстафиева

Аннотация
Сборник. Рождественская шкатулка. Святочные рассказы русских классиков
А. И. Куприн. Бедный принц
1
2
3
4
А. Фёдоров-Давыдов. Хаврошина ёлка. Святочный рассказ
1
2
3
4
В. В. Розанов. С Рождеством Христовым!
В. А. Никифоров-Волгин. Серебряная метель
И. С. Шмелёв. Рождество
К. В. Лукашевич. Рождественский праздник
Н. И. Манасеина. Кирюшка
Без матери
Отчего в праздник скучно?
Неказистый кавалер
Новые гости

Праздник
Под ёлкой
Как хорошо вдвоём
Приютили
А. В. Круглов. В канун Сочельника
Л. А. Чарская. Ёлка через сто лет. Рождественский рассказ
I
II
III
IV
V
А. Аверченко. Продувной мальчишка
Г. Т. Северцов-Полилов. В Рождественскую ночь. Сон цветочницы
Н. А. Лухманова. Чудо Рождественской ночи
I
II
III
IV
V
VI
VII
С. М. Макарова. Рождественский фонарь
Саша Чёрный. Рождественский ангел
В. Евстафиева. Ваня

И. А. Бунин. Волхвы. Из «Провансальских пересказов»
И. Потапенко. Бурная ночь. Рождественский рассказ
А. Н. Толстой. Ёлка
Д. В. Григорович. Зима
Е. Н. Поселянин. Святочные дни
Л. Андреев. Ангелочек
I
II
III

Аннотация

Рождественская литература в России соединяет в себе традиционное христианство и народный фольклор.

Святочные рассказы русских писателей: Алексея Куприна, Ивана Бунина, Аркадия Аверченко, Алексея Толстого и других, читаются уже многими поколениями и создадут настроение уюта домашнего очага, тепла человеческих отношений и рождественских чудес.

Празднуя Рождество Христово, мы славим Боговоплощение и самого Спасителя. В нашей культуре укоренились традиции, связанные с рождественскими днями: елка – символ вечной жизни, которую даровал нам Христос, особая трапеза после длительного поста, посещение близких людей, дарение подарков (в воспоминание о дарах, принесенных волхвами младенцу Христу), проявление милосердия и помощь нуждающимся.

Святочные истории призывают нас к любви и милосердию, к тому, что, если каждый поделится частичкой своего душевного тепла

с другими, тогда может произойти рождественское чудо.



Сборник
Рождественская шкатулка. Святочные рассказы русских классиков

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

А. И. Куприн. Бедный принц

1

«Замечательно умно! — думает сердито девятилетний Даня Иевлев, лёжа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног. — Замечательно! Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в тёмную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают ёлку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чём не догадываюсь. Вот они какие — взрослые!»

На улице горит газовый фонарь, и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя сквозь листья латаний и фикусов, стелет лёгкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля.

«Да и что весёлого, по правде сказать, в этой ёлке? — продолжает размышлять Даня. — Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться, в угоду большим, умными и воспитанными детьми… За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тётя… Заставят говорить все врёмя по-английски… Затеют какую-нибудь прескучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или

городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг ёлки и что-нибудь петь и для чего-то хлопать в ладоши; потом все усядутся под ёлкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным, актёрским, «давлючим», как говорит Сонина няня, голосом рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную ёлку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками… А коньков или лыж уж наверно не подарят… И пошлют спать.

Нет, ничего не понимают эти взрослые… Вот и папа… он самый главный человек в городе, конечно, самый учёный… недаром его называют городской головой… Но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребёнок, а как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решился стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов, нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шёлковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает по ночам во сне».

Мальчик лениво встал с медведя, подошёл, волоча ноги, к окну, подышал на фантастические

морозные леса из пальм, потёр рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребёнок. На нём коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, чёрные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук.

Светлые, короткие и мягкие волосы расчёсаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно бледно, и это происходит от недостатка воздуха: чуть ветер немного посильнее или мороз больше шести градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают: гамаши, меховые ботики, тёплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта… опротивеет и гулянье! И непременно ведёт его за руку, точно маленького, длинная мисс Дженерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке весёлые, краснощёкие, с потными счастливыми лицами, уличные мальчишки, или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно, с хрустением жуют её. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попро-

бовать сосульку. Должно быть, изумительный вкус. Но разве это возможно! «Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах, гадость!»

«Ох, уж эти мне женщины! — вздыхает Даня, серьёзно повторяя любимое отцовское восклицание. — Весь дом полон женщинами — тётя Катя, тётя Лиза, тётя Нина, мама, англичанка… Женщины, ведь это те же девчонки, только старые… Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются — мышей, простуды, собак, микробов… И Даню тоже считают точно за девочку… Это его-то! Предводителя команчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника! Нет! Вот назло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырёк папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности».

Нет, нет, всё это мечты, одни мечты… С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот нянька говорит часто: «Ты наш принц». И правда, Даня, когда был маленький, думал, что он — волшебный принц, а теперь вырос и знает, что он бедный, несчастный принц, заколдованный

жить в скучном и богатом царстве.

2

Окно выходит в соседний двор. Странный, необычный огонь, который колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается, вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он приникает к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом, от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего, только что выпавшего снега он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребятишек. Над ними на высокой палке, которой не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещённая изнутри каким-то скрытым огнём.

Даня хорошо знает, что всё это — детвора из соседнего бедного и старого дома, «уличные мальчишки» и «дурные дети», как их называют взрослые: сыновья сапожников, дворников и прачек. Но Данино сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства. От няньки он слыхал о местном древнем южном обычае: под Рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп,

ходят с ними по домам — знакомым и незнакомым, — поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету.

Безумно смелая мысль мелькает в голове Дани, — настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие, испуганные глаза и съёживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придётся же откровенно сказать отцу: «Ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправлюсь на своём аэроплане через океан». Сравнительно с такими страшными словами, одеться потихоньку и выбежать на улицу — сущие пустяки. Лишь бы только, на его счастье, старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в каморке под лестницей.

Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку! Довольно трудно справиться с американским механизмом замка. Нога стукнулась о дверь, гул пошёл по всей лестнице. Слава богу, ярко освещённая передняя пуста. Задержав дыхание, с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскаль-

зывает в тяжёлые двери, едва приотворив их, и вот он на улице! Чёрное небо, белый, скользкий, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарём на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости, — всё это как сон!..

3

«Дурные дети» как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и жёлтыми лучами, а самый маленький из колядников нёс на руках освещённый изнутри сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик — «вертеп Господень». Этот малыш был не кто иной, как сын иевлевского кучера. Даня не знал имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьёзностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни.

Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно посопел и сказал баском:

— Господа, примите и меня-а-а…

Дети остановились. Помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом:

— А на кой ты нам ляд?!

И тогда все заговорили разом:

— Иди, иди… Нам с тобой не велено водиться…

— И не треба…

— Тоже ловкий… мы по восьми копеек сложи-

лись…

— Хлопцы, да это же иевлевский паныч, Гаранька, это — ваш?..

— Наш!.. — с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера.

— Проваливай! — решительно сказал первый, осипший, мальчик. — Нема тут тебе компании…

— Сам проваливай, — рассердился Даня, — здесь улица моя, а не ваша!

— И не твоя вовсе, а казённая.

— Нет, моя. Моя и папина.

— А вот я тебе дам по шее, — тогда и узнаешь, чья улица…

— А не смеешь!.. Я папе пожалуюсь… А он тебя высекет…

— А я твоего папу ни на столечко вот не боюсь… Иди, иди, откудова пришёл. У нас дело товарискоe. Ты небось денег на звезду не давал, а лезешь…

— Я и хотел вам денег дать… целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли… А теперь вот не дам!..

— И всё ты врёшь!.. Нет у тебя никаких пятьдесят копеек.

— А вот нет — есть!..

— Покажи!.. Всё ты врёшь…

Даня побренчал деньгами в кармане.

— Слышишь?..

Мальчики замолчали в раздумье. Наконец сиплый высморкался двумя пальцами и сказал:

— Ну-к что ж… Давай деньги — иди в компанию. Мы думали, что ты так, на шермака хочешь!.. Петь можешь?..

— Чего?..

— А вот «Рождество Твоё, Христе Боже наш»… колядки ещё тоже…

— Могу, — сказал решительно Даня.

4

Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещёнными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель труппы — тот самый рослый мальчишка, который недавно побранился с Даней, — начинал сиплым и гнусавым голосом:

— Рождество Твоё, Христе Боже наш…

И остальные десять человек подхватывали вразброд, не в тон, но с большим воодушевлением:

— Воссия мирови свет разума…

Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную колядку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда красна, как Христос народился, а Ирод сомутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок телятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы складывались в один общий мешок. В иных же домах на звуки

пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая толстая баба с веником и кричала грозно:

— Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые… Гэть!.. Кыш до дому!

Один раз на них накинулся огромный городовой, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые, ледяные усы:

— Що вы тут, стрекулисты, шляетесь?.. Вот я вас в участок!.. По какому такому праву?.. А?..

И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом.

Как стая воробьёв после выстрела, разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе, чертя огненный след, красная звезда. Дане было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штиблеты стучат, точно копыта дикого мустанга, по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка, в шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дане в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно.

Только на углу мальчики остановились. Горо-

довой и не думал за ними гнаться.

Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальным жителям, в дворницкие. Благодаря тому, что выхоленное лицо и изящный костюм Дани обращали общее внимание, он старался держаться позади. Но пел он, кажется, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьянённый воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, весёлые, живые минуты он совершенно искренно забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженерс, и обо всём на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой холодной малороссийской колбасы с чесноком, от которой мёрзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного!

И потому при выходе из булочной, где звезду угостили тёплыми витушками и сладкими крендельками, он только слабо и удивленно ахнул, увидя перед собою нос к носу Нину и мисс Дженерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной.

— Слава тебе господи, нашёлся наконец!.. Боже мой, в каком виде! Без калош и без башлыка!

Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!

Славильщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городового, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук их торопливых ног.

Тётя Нина — за одну руку, мисс Дженерс — за другую повели беглеца домой. Мама была в слезах — бог знает, какие мысли приходили ей за эти два часа, когда все домашние, потеряв головы, бегали по всем закоулкам дома, по соседям и по ближним улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован исчезновением Дани и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию.

С обычной прямотой Даня подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили назавтра тяжёлым наказанием и послали переодеться. Он вышел к своим маленьким гостям вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щёки его горели от недавнего возбуждения, и глаза весело блестели после мороза. Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком,

с хорошими манерами и английским языком, но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей.

— А ведь Дане полезен воздух, — сказал отец, наблюдавший за ним издали, из кабинета. — Вы дома его слишком много держите взаперти. Посмотрите, мальчик пробегался, и какой у него здоровый вид! Нельзя держать мальчика всё время в вате.

Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и воскликнул, весь сморщившись:

— Довольно, довольно! Будет… будет… Делайте, как хотите… Ох, уж эти мне женщины!..

1909

А. Фёдоров-Давыдов. Хаврошина ёлка

Святочный рассказ

1

На самом краю деревни Деурина стояла избёнка солдатской вдовы Арины Паниной. Незадолго до Рождества, этак дней за пять, приехала к Арине из Питера старшая сестра Варвара, с которой она лет десять не видалась.

Обрадовалась сестре Арина, расцеловались сёстры, и пошли у них разговоры без конца.

Служила Варвара десять лет в няньках у богатых господ; а как барчата их подросли, она и отошла от места. Жила Варвара у господ, как сыр в масле каталась: еда хорошая, на праздники подарки дарят: либо шубёнку, либо платье, либо деньгами. Всего было!.. Вон два сундука всяким добром набиты, да триста рублей у неё на хранении лежат… Вот поживёт тётка Варвара у сестрицы, в монастырь деньги внесёт, и дадут ей келейку, чтобы дожить ей тихо, мирно и беспечально…

И видит Арина — сидит перед ней Варвара барыня-барыней: платье шерстяное, шубка на лисьем меху, платок ковровый на плечи накинут; лицо у нее белое, полное, руки холёные. А посмотрела Арина вокруг себя — и сердце у нее

от боли заныло: всюду-то беднота, нужда горькая да голод!..

2

А вечером, после ужина, и стала тётка Варвара про житьё-бытьё городское сказывать. Чисто мёд с молоком слова у неё текли. Хавроша, дочь Арины, и про сон забыла — навострила уши, слово боится пропустить…

Арина слушала молча, и всё её досада да зависть разбирали. Уж больно им-то с Хаврошей тяжело жилось! И одеться не во что, и иной раз хлеба перекусить не приходится…

— Вот, — рассказывала тётка Варвара, — сейчас Рождество наступает. И пойдёт по всему городу веселье, пляс — сердце радуется. А для ребят ёлки там устраивают!..

И пошла Варвара сказывать, как купят господа ёлку, обрядят её конфетками, пряниками, игрушками разными, яблоками да орехами — и детям её подарят. А дети свечи на ней зажгут и давай вокруг ёлки плясать да сласти рвать.

Словно зачарованная слушала Хавроша тётку Варвару. А Арина и говорит:

— То-то деньги у господ без глаз: куда не швыряют!

Тётка Варвара даже обиделась за господ:

— Что ж, сестрица, — не всем же по-свински жить, вроде вас!.. Тоже и себя, и детей потешить охота!.. А что деньги зря бросают, это точно… Вон, намедни ёлку пошли покупать — приступу к ёлкам нет: либо три рубля, либо пять, а то и десять рублей отдают… Вот что!..

— Десять целковых?.. — Арину даже в жар бросило. — На десять-то целковых мы бы полгода беспечально жить могли.

Хавроша так и заснула в радужных мечтах. А наутро Арина и сказала Хавроше:

— Сходи, доченька, на село, к учительше Клавдии Васильевне: поклонись от меня, скажи, разнедужилась-де я вовсе, не даст ли мучки с четвёртку, да масла, да полтинник — праздник встретить. Скажи, у сестры просила — и слышать не хочет: какие, говорит, у меня деньги?.. Да ты, Хавроша, у учительши и переночуй, а ночью не ходи…

Живо собралась Хавроша: материнскую кацавейку надела, платком обмоталась, валенки обула. Потом под лавку сунулась и отцовский топор разыскала… Заткнула его за платок назади и пошла в путь-дорогу… Хавроша-то себе на уме… Недаром она с вечера тёткины россказни слушала…

3

Лютый мороз трещит на дворе. Солнышко, всё окутанное мглой, стоит на небе красное, словно сердится на кого!..

Идёт Хавроша — скорым-скоро; «хруп-хруп» — похрупывает мёрзлый снег под валенками, а думы Хаврошины так сами на крыльях её и несут. Вышла за околицу, спустилась к реке тихо-тихо, кругом мертво…

Беги, Хавроша, беги, касатка, не то смёрзнешь, такая-сякая!.. Студёно!.. Руки-то коченеют, под кацавейку мороз набирается, и нос вишенкой горит. Вошла Хавроша в лес, устала, запыхалась. Да слава Богу, вон, в стороне стоит ёлочка, какую ей надо: кудревастенькая, высоконькая, аккуратная такая!.. Достала Хавроша топор и полезла по сугробам к ёлочке. Ноги вязнут в снегу: не то что по пояс, а по горло Хавроша в сугроб ушла. Да ничего, выкарабкалась!..

Ох, только уж вот этот мороз!.. Скрючил он пальцы у Хавроши — не разогнёшь; топор не удержишь в руках, а не то что рубить… Стала Хавроша на пальцы дуть, да мороз дух захватывает, всё в ней стынет!.. Даже заплакала Хавроша.

Чу!.. Скрипят полозья, лошадь фыркает!.. Никак едет кто!..

Ободрилась Хавроша, оглянулась и видит, что точно кто-то едет, да никак свой…

— Дядя Андрей!.. Андре-ей!.. — На дороге за елями остановились розвальни, и вся лохматая, словно обсахаренная, лошадёнка дымилась от пара… Бородатый рыжий мужик сошёл с саней и оглянулся…

— Хаврошка?.. Да как ты сюда попала?..

— Да я за ёлкой!.. А ты в город?..

— В город и есть!..

— Сруби, дядя Андрей, ёлку-то… В город свезём. Ишь, тётка сказывала, господам они нужны… Деньги платят…

Мужик почесал затылок и сказал:

— А что, братец ты мой, и то!.. И тебе срублю, и себе пяток возьму… Продадим и то… Ступай, ложись в сани-то, прикройся веретьем, а я, дай срок, нарублю…

Нарубили ёлок, навязали и поехали.

— А что, братец ты мой, — сказал Андрей, — кабы не случай, смёрзла бы в лесу ни за грош! либо заяц бы тебя залягал!.. Ишь, востроносая, что удумала!..

4

Шумно, людно на базаре. Скоро святки!.. Живо раскупили у дяди Андрея целый воз ёлок. Осталась только Хаврошина ёлка. Жаль Хавроше ёлку продавать. А дядя Андрей ворчит:

— Что ж мне с тобой до ночи на морозе-то мёрзнуть?.. Продавай, что ли, пора…

В это время мимо проходила какая-то барыня с девочкой.

— Что стоит ёлка?.. — спросила барыня.

— Три рубля, — пролепетала Хавроша.

— Да ты с ума сошла! — вскрикнула барыня. — Вся-то ей цена 25 копеек.

Дяде Андрею даже обидно стало.

— Э-эх, барыня!.. — сказал он горько. — Оно точно, — ёлка ничего не стоит, — да девчонка-то вся смёрзла, на морозе-то стоя; а дома-то у неё мать больна, и праздник нонче!..

Барыня быстро достала три рубля и сунула их Хавроше…

Вечер. Тускло чадит лампочка в Арининой избёнке.

Тётка Варвара сидит за столом и ужинает. Арина, ещё слабая от болезни, встала и прибирает

посуду.

— Сердце-то не на месте, — говорит она, — и где это Хавроша запропала!..

В это время под окнами с надворья завизжали полозья; послышались глухие голоса… Собака залаяла. Кто-то стукнул в окно, и Варвара, кряхтя и ворча, пошла отпирать ворота… Дверь с визгом распахнулась, клуб пара вырвался из избы…

— Хавроша!..

— Вот тебе пропащая твоя!.. — проворчала тётка Варвара, вешая шубу на гвоздь… — Ишь, в городе побывала… ну, и шустрая же!.. Ты послушай, чудес-то каких она натворила!..

На другой день был сочельник. В деревне все знали, что наделала Хаврошка, и об этом только и говору было.

А в сумерки тётка Варвара, весь день сидевшая у окна туча-тучей, окликнула сестру и сказала ей:

— Слышь ты, сестра… Одолела, значит, меня Хаврошка твоя… Вот что!.. Да… Хотела я в монастырь пристроиться; ну, так что вижу, Господь мне указал, чтобы вас, значит, не покидать… Да… Ну, и останусь я жить у вас, и там что насчёт денег, всё это можно. А только ты-то уж меня при старости корми, пои!.. Одолела меня девчонка твоя!.. И шустрая же, сейчас помереть…

Арина чуть не до земли поклонилась сестре и только всего и сказала:

— Благослови тебя Бог, сестрица… Вместе и жить станем, вместе и к Господу Богу пойдём!..

1914–1916 (?)

В. В. Розанов. С Рождеством Христовым!

Снова в сознании и в чувствах народных рождается Предвечный Младенец, — рождается в вертепе, то есть в пещере, куда на ночь сирийские пастухи загоняли свой скот, охраняя его от хищных зверей. Снова приходят поклониться Младенцу и Богу сперва пастыри, то есть пастухи окрестных стад; и затем приносят Ему дары, золото и благовонные смолы «волхвы с Востока», — дары, знаменующие и священническое, и царское служение рождённого Младенца. Так в этих чертах, и простых и народных, говорящих что-то «своё» и «родное» каждой бедной хижине, — и вместе в чертах небесных и религиозных, уже предрекающих будущие звоны христианских церквей, родился наш Христос, научивший людей и народы новой истине, новой правде; родился Тот, Кто возвестил всем новый закон благодатного существования.

«Своё», «родное» говорит каждой хижине Рождество Христово. Никакие царства и никакие власти, никакие обширные и новые законы, тре-

бующие от человека повиновения и говорящие ему языком приказания, — не могли бы внести и не вносят того внутреннего содержания, того сердечного говора, какой принёс людям Рождённый Младенец. Здесь разница и разделение религии от царств. И здесь причина, что все царства и власти склоняются перед религиею, ибо даже для них-то, для этих царств, религия даёт больше царственного и законодательного, чем сколько они содержат в себе. Религия даёт внутреннее убеждение, собственное влечение человека следовать лучшему, благороднейшему, человечному. Навстречу закону, суровому и внешнему, с его тоном приказания, — и раньше, чем он умел приказать, — религия вызывает порывы в самом человеке, не только совпадающие с законом, но и дающие «благодатную прибавку». Никаким законом и никакими его строгостями нельзя бы вызвать того сияния подвига и добрых дел, какими бывает наполнена, — и до сих пор часто, не говоря о ранних веках христианства, — жизнь деятельного и порывистого христианина. «Христа ради» — это относится не до одних нищих… «Христа ради» воздвигаются больницы. «Христа ради», через сборы по копеечке, воздвигнуты все наши храмы. «Христа ради» льётся и льётся

добро из щедрых рук в руки неимущие, — и этот поток до сих пор, через 1900 лет после рождения Божественного Младенца, так велик, обилен и энергичен, что говорить об «угасании христианства» могут только больные языки, покрытые струпьями, и могут только больные изнеможенные совести, задыхающиеся в собственном эгоизме. А говорят многие, и говорят с радостью о «падении религии вообще» и, в частности, об «изношенности и потускнении христианства», — радуясь, что «исчезают предрассудки и суеверия». Но народ им не уступит «своего» и «родного», о чем мы сказали выше. Толща народная хорошо знает, что светская безрелигиозная филантропия оставит их голыми на снегу, что она из тысячи накормит только одного, — не будь народного движения сюда «Христа ради», не будь в самой толще народной порыва делиться с соседом, кормить неимущего, — не ради себя и не ради своей человечности, не ради своего образования и учёности, но «ради Христа», Который жертвою за человечество научил и каждого жертвовать для человечества.

И тысяча девятьсот лет не истощился этот поток. Померкли царства и силы, сколько республик пало и монархий разрушилось! — а поток

христианских чувств и сила благотворения его не пала; и никто не спрашивает: «Скажите, где же проявление христианского добра?» Оно — везде, добрый читатель, — умей только смотреть; оно в самом тебе, даже если ты отрицаешь христианство, потому что ты уже смотришь совсем новым глазом на человека, на бедняка или больного. И этот новый взгляд или, точнее, этот новый глаз рождён в тебе Христом и христианством, воспитан в тебе церковью и молитвою в родительском дому: ибо об этом ничего не говорит тебе алгебра с геометрией, не говорят филология и медицина, не говорили тебе школьные учителя, торопливо занятые совсем другими предметами и иными темами. Но, как сосуд с дорогим миром долго ещё сохраняет аромат мира после того, как из него исчерпано или из него выплеснуто на землю миро, и даже черепки разбитого сосуда долго пахнут тем же, так точно отвернувшийся от церкви и христианства безбожник долго ещё сам остаётся христианином, останутся христианами даже его дети, что бы ни говорил их язык. И настоящий холод безбожия появится только в третьем поколении, когда «пройдёт уже всё»… Но до такого ужаса никогда не допустит народы Младенец, рождение Которого мы сегодня празднуем.

Христианство — теплота, всемирная теплота. Колыбель — тоже теплота. И ясли, и Младенец в них — всё теплота. В противоположность холодному, бездушному буддизму, в противоположность формальному Моисееву законодательству с его мстительным «око за око и зуб за зуб» и с фарисейским разделением людей и даже предметов на «чистые» и «нечистые», — Христос принёс на землю благодатное царство, где погашена мстительность и где всё «нечистое» освящено благодатью и сделалось чистым. «Не греет ли солнце добрых и злых», не «светит ли оно равно добрым и злым», — изрёк Христос: запас добра и сила добра, которое принёс на землю Божественный Младенец, были столь велики и обильны, что Тот, Кто изрёк это слово о солнце, замыл даже рану разделения вещей и людей на добрых и злых, на чистых и нечистых. О, не для того, чтобы попустить зло и нечистое, но чтобы самое зло и нечистоту обратить к Богу, повернуть к Богу, повернуть к правде и очищению. Христос именно победил кривое и лукавое, нисколько с ним не согласившись и ни в чём ему не уступив. Он исцелил, исправил, — а не смежил глаза на существенную разницу между добром и злом. Но Он оставил «огонь неугасимый» последних дней

для всего, что и после Его учения и Его образа останется упорным, косным и холодным.

Христианство — защита народная, Христос есть заступник народный. Никогда, никогда народ не отступится от этой защиты своей, никогда он не отойдёт в сторону от своего Заступника. Мелкая и неумная школа и некоторые обезумевшие семьи рубят под собою корень, пренебрегая религиозным воспитанием детей, и само пастырство тоже сушит этот корень формальным и внешним исполнением своего благодатного долга и в школе, и в семье. Но 1900 лет держится корень и ещё свеж. Немалое время! — и оно крепит в нас надежды. Пройдут безумные дни, все опамятуются и поймут, что нет воспитания без «закона Божия», нет благодатного роста детей без молитвы, без поставленной в церкви восковой свечи, без всего круга забот и мыслей, нить которых начинается в церкви, а оканчивается на далёкой орбите нашей целокупной деятельности гражданской, служебной, всяческой.

Но, забывая об отрицательных и кривых явлениях душевной и общественной жизни, кончим — обращаясь к добрым. Скажем слово тем, кто верен Христу и христианству, верен Церкви. Пусть смело и твёрдо стоят они на этом камне: не

смоет его цивилизация, не подмоют его науки, ибо этот камень сам их утверждает и всё на нём держится. На правом камне стоите вы, правые и лучшие люди Руси. Только не забывайте: ведите непременно детей ваших к церкви в этот день, приобщайте их морю народному и морю веры народной. Детские впечатления — на всю жизнь. Это относится к возможному небрежению, так распространённому на Руси: будьте бодры и внимательны эти дни, ибо ничто так не воспитывает детей, как правильно вошедший в их душу смысл праздника. Но затем, оставляя рассудительность в стороне, — сами и вольной душой отдайтесь этому празднику; и, помня, что во всем году «Рождество Христово» и связанные с ним «святки» есть главный и единственный семейный праздник всея Руси, — не кидайте драгоценных дней на пустые визиты, светские удовольствия, не спешите в театры и вообще на внешние удовольствия, а старайтесь проводить их лучше дома, делясь душою и мыслью с семьёй своей, которой ведь вы по обязанностям службы и всяческого вообще труда — так мало принадлежите, в сущности. Святки — годовой миг воскресенья семьи, или её оживления, тех счастливых её дней, когда все «в сборе» и «дома». Вот этим «в сборе» и надо

воспользоваться, это «дома» надо разработать, украсить узором игр и забав, чистых, весёлых и простодушных. Напомним, что у нас есть (то есть продаётся везде) превосходный большой труд — «Святочная хрестоматия» Швидченка, где родители и взрослые дети найдут всё, что в праздник нужно, в смысле умного развлечения. Тут и народные всевозможные песенки, и игры, и маленькая пьеска для домашнего спектакля. Книжка и собрана (из поверий всех народов), и написана в целях именно дать русской семье невинное и вместе образованное развлечение на дни Святок!

Ну, с Богом! Здравствуйте все, помните бедных и что-нибудь им уделите в праздник! И сами не забывайте Бога и простодушной русской весёлости.

1913

В. А. Никифоров-Волгин. Серебряная метель

До Рождества без малого месяц, но оно уже обдаёт тебя снежной пылью, приникает по утрам к морозным стёклам, звенит полозьями по голубым дорогам, поёт в церкви за всенощной «Христос рождается, славите» и снится по ночам в виде весёлой серебряной метели.

В эти дни ничего не хочется земного, а в особенности школы. Дома заметили мою предпраздничность и строго заявили:

— Если принесёшь из школы плохие отметки, то ёлки и новых сапог тебе не видать!

«Ничего, — подумал я, — посмотрим… Ежели поставят мне, как обещались, три за поведение, то я её на пятерку исправлю… За арихметику, как пить дать, влепят мне два, но это тоже не беда. У Михал Васильича двойка всегда выходит на манер лебединой шейки, без кружочка, — её тоже на пятерку исправлю…»

Когда всё это я сообразил, то сказал родителям:

— Баллы у меня будут как первый сорт!

С Гришкой возвращались из школы. Я спросил

его:

— Ты слышишь, как пахнет Рождеством?

— Пока нет, но скоро услышу!

— Когда же?

— А вот тогда, когда мамка гуся купит и жарить зачнёт, тогда и услышу!

Гришкин ответ мне не понравился. Я надулся и стал молчаливым.

— Ты чего губы надул? — спросил Гришка.

Я скосил на него сердитые глаза и в сердцах ответил:

— Рази Рождество жареным гусем пахнет, обалдуй?

— А чем же?

На это я ничего не смог ответить, покраснел и ещё пуще рассердился.

Рождество подходило всё ближе да ближе. В лавках и булочных уже показались ёлочные игрушки, пряничные коньки и рыбки с белыми каёмками, золотые и серебряные конфеты, от которых зубы болят, но всё же будешь их есть, потому что они рождественские.

За неделю до Рождества Христова нас отпустили на каникулы.

Перед самым отпуском из школы я молил Бога, чтобы Он не допустил двойки за арихметику

и тройки за поведение, дабы не прогневать своих родителей и не лишиться праздника и обещанных новых сапог с красными ушками. Бог услышал мою молитву и в свидетельстве «об успехах и поведении» за арихметику поставил тройку, а за поведение пять с минусом.

Рождество стояло у окна и рисовало на стёклах морозные цветы, ждало, когда в доме вымоют полы, расстелят половики, затеплят лампады перед иконами и впустят Его…

Наступил сочельник. Он был метельным и белым-белым, как ни в какой другой день. Наше крыльцо занесло снегом, и, разгребая его, я подумал: необыкновенный снег… как бы святой! Ветер, шумящий в берёзах, — тоже необыкновенный! Бубенцы извозчиков не те, и люди в снежных хлопьях не те… По сугробной дороге мальчишка в валенках вёз на санках ёлку и как чудной чему-то улыбался.

Я долго стоял под метелью и прислушивался, как по душе ходило весёлым ветром самое распрекрасное и душистое на свете слово — «Рождество». Оно пахло вьюгой и колючими хвойными лапками.

Не зная, куда девать себя от белизны и необычности сегодняшнего дня, я забежал в собор и

послушал, как посредине церкви читали пророчества о рождении Христа в Вифлееме; прошёлся по базару, где торговали ёлками, подставил ногу проходящему мальчишке, и оба упали в сугроб; ударил кулаком по залубеневшему тулупу мужика, за что тот обозвал меня «шулды-булды»; перебрался через забор в городской сад (хотя ворота и были открыты). В саду никого, — одна заметель да свист в деревьях. Неведомо отчего бросился с разлёту в глубокий сугроб и губами прильнул к снегу. Умаявшись от беготни по метели, сизый и оледеневший, пришёл домой и увидел под иконами маленькую ёлку… Сел с нею рядом и стал петь сперва бормотой, а потом всё громче да громче: «Дева днесь пресущественного рождает», и вместо «волсви со звездою путешествуют» пропел: «волки со звездою путешествуют».

Отец, послушав моё пение, сказал:

— Но не дурак ли ты? Где это видано, чтобы волки со звездою путешествовали?

Мать палила для студня телячьи ноги. Мне очень хотелось есть, но до звезды нельзя. Отец, окончив работу, стал читать вслух Евангелие. Я прислушивался к его протяжному чтению и думал о Христе, лежащем в яслях:

— Наверное, шёл тогда снег и маленькому Ии-

сусу было дюже холодно!

И мне до того стало жалко Его, что я заплакал.

— Ты что заканючил? — спросили меня с беспокойством.

— Ничего. Пальцы я отморозил.

— И поделом тебе, неслуху! Поменьше бы олётывал в такую зябь!

И вот наступил наконец рождественский вечер. Перекрестясь на иконы, во всём новом, мы пошли ко всенощной в церковь Спаса-Преображения. Метель утихла, и много звёзд выбежало на небо. Среди них я долго искал рождественскую звезду и, к великой своей обрадованности, нашёл её. Она сияла ярче всех и отливала голубыми огнями.

Вот мы и в церкви. Под ногами ельник, и кругом, куда ни взглянешь — отовсюду идёт сияние. Даже толстопузый староста, которого все называют «жилой», и тот сияет, как святой угодник. На клиросе торговец Силантий читал «великое повечерие». Голос у Силантия сиплый и пришепетывающий, — в другое время все на него роптали за гугнивое чтение, но сегодня, по случаю великого праздника, слушали его со вниманием и даже крестились. В густой толпе я увидел Гришку. Протискался к нему и шепнул на ухо:

— Я видел на небе рождественскую звезду…

Большая и голубая!

Гришка покосился на меня и пробурчал:

— Звезда эта обыкновенная! Вега называется. Её завсегда видать можно!

Я рассердился на Гришку и толкнул его в бок. Какой-то дяденька дал мне за озорство щелчка по затылку, а Гришка прошипел:

— После службы и от меня получишь!

Читал Силантий долго-долго… Вдруг он сделал маленькую передышку и строго оглянулся по сторонам. Все почувствовали, что сейчас произойдёт нечто особенное и важное. Тишина в церкви стала ещё тише. Силантий повысил голос и раздельно, громко, с неожиданной для него прояснённостью, воскликнул:

— С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!

Рассыпанные слова его светло и громогласно подхватил хор:

— С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!

Батюшка в белой ризе открыл царские врата, и в алтаре было белым-бело от серебряной парчи на престоле и жертвеннике.

— Услышите до последних земли, яко с нами Бог, — гремел хор всеми лучшими в городе голо-

сами. — Могущии покоряйтеся, яко с нами Бог… Живущии во стране и сени смертней, свет возсияет на вы, яко с нами Бог. Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам — яко с нами Бог… И мира Его несть предела, — яко с нами Бог!

Когда пропели эту высокую песню, то закрыли царские врата, и Силантий опять стал читать. Читал он теперь бодро и ясно, словно песня, только что отзвучавшая, посеребрила его тусклый голос.

После возгласа, сделанного священником, тонко-тонко зазвенел на клиросе камертон, и хор улыбающимися голосами запел «Рождество Твоё, Христе Боже наш».

После рождественской службы дома зазорили (по выражению матери) ёлку от лампадного огня. Ёлка наша была украшена конфетами, яблоками и розовыми баранками. В гости ко мне пришёл однолеток мой еврейчик Урка. Он вежливо поздравил нас с праздником, долго смотрел ветхозаветными глазами своими на зазоренную ёлку и сказал слова, которые всем нам понравились:

— Христос был хороший человек!

Сели мы с Уркой под ёлку, на полосатый половик, и по молитвеннику, водя пальцем по

строкам, стали с ним петь «Рождество Твоё, Христе Боже наш».

В этот усветлённый вечер мне опять снилась серебряная метель, и как будто бы сквозь вздымы её шли волки на задних лапах, и у каждого из них было по звезде, все они пели «Рождество Твоё, Христе Боже наш».

1937

И. С. Шмелёв. Рождество

Рождество уже засветилось, как под Введенье запели на всенощной «Христос рождается, славите; Христос с небес, срящите…» — так сердце и заиграло, будто в нём свет зажёгся. Горкин меня загодя укреплял, а то не терпелось мне, скорей бы Рождество приходило, всё говорил вразумительно «нельзя сразу, а надо приуготовляться, а то и духовной радости не будет». Говорил, бывало:

— Ты вон, летось, морожена покупал… и взял-то на монетку, а сколько лизался с ним, поглядел я на тебя. Так и с большою радостью, ещё пуще надо дотягиваться, не сразу чтобы. Вот и приуготовляемся, издаля приглядываемся, — вон оно, Рождество-то, уж светится. И радости больше оттого.

И это сущая правда. Стали на крылосе петь, сразу и зажглось паникадило, — уж светится будто Рождество. Иду ото всенощной, снег глубокий, крепко морозом прихватило, и чудится, будто снежок поёт, весело так похрустывает — «Христос с небес, срящите…» — такой-то радостный, хрящеватый хруст. Хрустят и промёрзшие заборы,

и наши дубовые ворота, если толкнуться плечиком, — весёлый, морозный хруст. Только бы Николина дня дождаться, а там и рукой подать; скатишься, как под горку, на Рождество.

«Вот и пришли Варвары», — Горкин так говорит, — Василь-Василичу нашему на муку. В деревне у него на Николу престольный праздник, а в Москве много земляков, есть и богачи, в люди вышли, все его уважают за характер, вот он и празднует во все тяжки. Отец посмеивается: «Теперь уж варвариться придётся!» С неделю похороводится: три дни подряд празднует трояк-праздник: Варвару, Савву и Николу. Горкин остерегает, и сам Василь-Василич бережётся, да морозы под руку толкают. Поговорка известная: Варвара-Савва мостит, Никола гвоздит. По именинам-то как пойдёт, так и пропадёт с неделю. Зато уж на Рождество — «как стёклышко», чист душой: горячее дело, публику с гор катать. Разве вот только «на стенке» отличится, — на третий день Рождества, такой порядок, от старины; бромлейцы, заводские с чугунного завода Бромлея, с Серединки, неподалёку от нас, на той же Калужской улице, «стенкой» пойдут на наших, в кулачный бой, и большое побоище бывает; сам генерал-губернатор князь Долгоруков будто

дозволяет, и будошники не разгоняют: с морозу людям погреться тоже надо. А у Василь-Василича кровь такая, горячая: смотрит-смотрит — и ввяжется. Ну, с купцами потом и празднует победу-одоление.

Как увидишь, — на Конную площадь обозы потянулись, — скоро и Рождество. Всякую живность везут, со всей России: свиней, поросят, гусей… — на весь мясоед, мороженых, пылкого мороза. Пойдём с Горкиным покупать, всю там Москву увидим. И у нас на дворе, и по всей округе, все запасаются помногу, — дешевле, как на Конной, купить нельзя. Повезут на санях и на салазках, а пакетчики, с Житной, сами впрягаются в сани — народ потешить для Рождества. Скорняк уж приходил, высчитывал с Горкиным, чего закупить придется. Отец загодя приказывает прикинуть на бумажке, чего для народа взять и чего для дома. Плохо-плохо, а две-три тушки свиных необходимо, да чёрных поросят, с кашей жарить, десятка три, да белых, на заливное молошничков, два десятка, чтобы до заговин хватило, да индеек-гусей-кур-уток, да потрохов, да ещё солонины не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей-тетёрок, да… — трое саней брать надо. И я новенькие салазки заготовил, чего-нибудь

положить, хоть рябчиков.

В эту зиму подарил мне отец саночки-щегольки, высокие, с подрезами, крыты зелёным бархатом, с серебряной бахромой. Очень мне нравились эти саночки, дивовались на них мальчишки. И вот заходит ко мне Лёнька Егоров, мастер змеи запускать и голубей гонять. Приходит, и давай хаять саночки: девчонкам только на них кататься, разве санки бывают с бахромой! Настоящие санки везде катаются, а на этих в снегу увязнешь. Велел мне сесть на саночки, повёз по саду, в сугробе увязил и вывалил.

— Вот дак саночки твои!.. — говорит, — и плюнул на мои саночки.

Сердце у меня и заскучало. И стал нахваливать свои, лубяные: на них и в далёкую дорогу можно, и сенца можно постелить, и товар возить: вот, на Конную-то за поросятами ехать! Стал я думать, а он и привозит саночки, совсем такие, на каких тамбовские мужики в Москву поросят везут, только совсем малюсенькие, у щепника нашего на рынке выставлены такие же у лавки. Посадил меня и по саду лихо прокатил.

— Вот это дак саночки! — говорит. Отошёл к воротам, и кричит: — Хочешь, так уж и быть, променяю приятельски, только ты мне в придачу

чего-нибудь… хоть три копейки, а я тебе гайку подарю, змеи чикать.

Я обрадовался, дал ему саночки и три копейки, а он мне гайку — змеи чикать и салазки. И убежал с моими. Поиграл я саночками, а Горкин и спрашивает, как я по двору покатил:

— Откуда у те такие, лутошные?

Как узнал всё дело, так и ахнул:

— Ах ты, самоуправник! да тебя, простота, он, лукавый, вкруг пальца обернул, папашенька-то чего скажет!.. да евошним-то три гривенника — красная цена, куклу возить девчонкам, а ты, дурачок… идём со мной.

Пошли мы с ним к Лёньке на двор, а уж он с горки на моих бархатных щеголяет. Ну, отобрали. А отец его, печник знакомый и говорит:

— А ваш-то чего смотрел… так дураков и учат.

Горкин сказал ему чего-то от Писания, он и проникся, Лёньку при нас и оттрепал. Говорю Горкину:

— А за поросятами на Конную, как же я?..

Поставим, говорит, корзиночку, и повезёшь.

Близится Рождество: матушка велит принести из амбара «паука». Это высокий такой шест, и круглая на нём щётка, будто шапка: обметать паутину из углов. Два раза в году «паука» приносят:

на Рождество и на Пасху. Смотрю на «паука» и думаю: «Бедный, целый год один в темноте скучал, а теперь, небось, и он радуется, что Рождество». И все радуются. И двери наши, — моют их теперь к Празднику, — и медные их ручки, чистят их мятой бузиной, а потом обматывают тряпочками, чтобы не захватали до Рождества: в Сочельник развяжут их, они и засияют, радостные, для Праздника. По всему дому идёт суетливая уборка.

Вытащили на снег кресла и диваны, дворник Гришка лупит по мягким пузикам их плетёной выбивалкой, а потом натирает чистым снегом и чистит веничком. И вдруг, плюхается с размаху на диван, будто приехал в гости, кричит мне важно — «подать мне чаю-шоколаду!» — и строит рожи, гостя так представляет важного. Горкин — и тот на него смеётся, на что уж строгий. «Белят» ризы на образах: чистят до блеска щёточкой с мелком и водкой и ставят «праздничные», рождественские, лампадки, белые и голубые, в глазках. Эти лампадки напоминают мне снег и звёзды. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, — и это напоминает чистый, морозный снег. Изразцовые печи светятся белым матом, сияют начищенными отдушниками. Зеркально блестят

паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, — запахом Праздника. В гостиной стелят «рождественский» ковёр, — пышные голубые розы на белом поле, — морозное будто, снежное. А на Пасху — пунсовые розы полагаются, на алом.

На Конной, — ей и конца не видно, — где обычно торгуют лошадьми цыганы и гоняют их на проглядку для покупателей, показывая товар лицом, стоном стоит в морозе гомон. Нынче здесь вся Москва. Снегу не видно, — завалено народом, черным-черно. На высоких шестах висят на мочалках поросята, пучки рябчиков, пупырчатые гуси, куры, чернокрылые глухари. С нами Антон Кудрявый, в оранжевом вонючем полушубке, взял его Горкин на подмогу. Куда тут с санками, самих бы не задавили только, — чистое светопреставление. Антон несёт меня на руках, как на «постном рынке». Саночки с бахромой пришлось оставить у знакомого лавочника. Там и наши большие сани с Антипушкой, для провизии, — целый рынок закупим нынче. Мороз взялся такой, — только поплясывай. И все довольны, весёлые, для Рождества стараются поглатывают-жгутся горячий сбитень. Только и слышишь — перекликаются:

— Много ль поросят-то закупаешь?

— Много — не много, а штук пяток надо бы, для Праздника.

Торговцы нахваливают товар, стукают друг о дружку мёрзлых поросят: живые камушки.

— Звонкие-молочшие!.. не поросятки — а-нделы!..

Горкин пеняет тамбовскому, — «рыжая борода»: не годится так, ангелы — святое слово. Мужик смеётся:

— Я и тебя, милый, а-нделом назову... у меня ласковей слова нет. Не чёрным словом я, — а-ндельским!..

— Дворянские самые индюшки!.. княжьего роду, пензицкого заводу!..

Горкин говорит, — давно торгу такого не видал, боле тыщи подвод нагнали, — слыхано ли когда! «черняк» — восемь копеек фунт?! «беляк» — одиннадцать! дешевле пареной репы. А потому: хлеба уродилось после войны, вот и пустили вовсю на выкорм. Ходим по народу, выглядываем товарец. Всегда так Горкин; сразу не купит, а выверит. Глядим, и отец дьякон от Спаса в Наливках, в енотовой огромной шубе, слон-слоном, за спиной мешок, полон: немало ему надо, семья великая.

— Третий мешок набил, — басит с морозу дьякон, — гуська одного с дюжинку, а поросяткам и

счёт забыл. Семейка-то у меня…

А Горкин на ухо мне:

— Это он так, для хорошего разговору… он для души старается, в богадельню жертвует. Вот и папашенька, записочку сам дал, велит на четвертной накупить, по бедным семьям. И втайне чтобы, мне только препоручает, а я те поучение… вырастешь — и попомнишь. Только никому не сказывай.

Встречаем и Домну Панфёровну, замотана шалями, гора горой, обмёрзла. С мешком тоже, да и салазки ещё волочит. Народ мешает поговорить, а она что-то про уточек хотела, уточек она любит, пожирней. Смотрим — и барин Энтальцев тут, совсем по-летнему, в пальтишке, в синие кулаки дует. Говорит важно так: «рябчиков покупаю, „можжевельничков“, тонкий вкус! там, на углу, пятиалтынный пара!». Мы не верим: у него и гривенничка наищешься. Подходим к рябчикам: полон-то воз, вороха пёстрого перья. Оказывается, «можжевельнички» — четвертак пара.

— Тёрся тут, у моего воза, какой-то хлюст, нос насандален… — говорит рябчичник, — давал пятиалтынный за парочку, глаза мне отвёл… а люди видали — стащил будто пары две под свою пальтишку… разве тут доглядишь!..

Мы молчим, не сказываем, что это наш знакомый, барин прогорелый. Ради такого Праздника и не обижаются на жуликов: «что волку в зубы — Егорий дал!» Только один скандал всего и видали, как поймал мужик паренька с гусем, выхватил у него гуся, да в нос ему мёрзлым горлом гусиным: «разговейся, разговейся!..» Потыкал-потыкал — да и плюнул, связываться не время. А свинорубы и внимание не дают, как подбирают бедняки отлетевшие мёрзлые куски, с фунт, пожалуй. Свиней навезли горы. По краю великой Конной тянутся, как поленницы, как груды брёвен-обрубков: мороженая свинина сложена рядами, запорошило снежком розовые разводы срезов: окорока уже пущены в засол, до Пасхи.

Кричат: «тройку пропущай, задавим!» Народ смеётся: пакетчики это с Житной, везут на себе сани, полным-полны, а на груде мороженого мяса сидит-покачивается весёлый парень, баюкает парочку поросят, будто это его ребятки, к груди прижаты. Волокут поросятину по снегу на верёвках, несут подвязанных на спине гроздями, — одна гроздь напереду, другая сзади, — растаскивают великий торг. И даже будошник наш поросёнка тащит и пару кур, и знакомый пожарный с Якиманской части, и звонарь от Казанской тащит, и

фонарщик гусят несёт, и наши банщицы, и даже кривая нищенка, все-то, все. Душа — душой, а и мамона требует своего, для Праздника.

В Сочельник обеда не полагается, а только чаёк с сайкой и маковой подковкой. Затеплены все лампадки, настланы новые ковры. Блестят развязанные дверные ручки, зеркально блестит паркет. На столе в передней стопы закусочных тарелок, «рождественских», в голубой каёмке. На окне стоят зелёные четверти «очищенной», — подносить народу, как поздравлять с Праздником придут. В зале — парадный стол, ещё пустынный, скатерть одна камчатная. У изразцовой печи, пышет от неё, не дотронуться, — тоже стол, карточный-раскрытый, — закусочный: завтра много наедет поздравителей. Ёлку ещё не внесли: она, мёрзлая, пока ещё в высоких сенях, только после всенощной её впустят.

Отец в кабинете: принесли выручку из бань, с ледяных катков и портомоен. Я слышу знакомое почокиванье медяков и тонкий позвонец серебреца: это он ловко отсчитывает деньги, ставит на столе в столбики, серебрецо завёртывает в бумажки; потом раскладывает на записочки — каким беднякам, куда и сколько. У него, Горкин сказывал мне потайно, есть особая книжечка,

и в ней вписаны разные бедняки и кто раньше служил у нас. Сейчас позовет Василь-Василича, велит заложить беговые санки и развезти по углам-подвалам. Так уж привык, а то и Рождество будет не в Рождество.

У Горкина в каморке теплятся три лампадки, медью сияет Крест. Скоро пойдём ко всенощной. Горкин сидит перед железной печкой, греет ногу, — что-то побаливает она у него, с мороза, что ли. Спрашивает меня:

— В Писании писано: «и явилась в небе многая сонма Ангелов…», кому явилась?

Я знаю, про что он говорит: это пастухам ангелы явились и воспели — «Слава в вышних Богу…».

— А почему пастухам явились? Вот и не знаешь. В училищу будешь поступать, в имназюю… папашенька говорил намедни… у Храма Христа Спасителя та училища, имназюя, красный дом большенный, чугунные ворота. Там те батюшка и вспросит, а ты и не знаешь. А он строгой, отец благочинный нашего сорока, протоерей Копьев, от Спаса в Наливках… он те и погонит-скажет — «ступай, доучивайся!» — скажет. А потому, мол, скажи… Про это мне вразумление от отца духовного было, он всё мне растолковал, о. Валентин, в Успенском соборе, в Кремле, у-чё-ный!..

проповеди как говорит!.. Запомни его — о. Валентин, Анфитиятров. Сказал: в стихе поётся церковном: «истинного возвещают Пастыря!..» Как в Писании-то сказано, в Евангелии-то?.. — «Аз есьм Пастырь Добрый…». Вот пастухам первым потому и было возвещено. А потом уж и волхвам-мудрецам было возвещено: знайте, мол! А без Него и мудрости не будет. Вот ты и помни.

Идём ко всенощной.

Горкин раньше ещё ушел, у свещного ящика много дела. Отец ведёт меня через площадь за руку, чтобы не подшибли на раскатцах. С нами идут Клавнюша и Саня Юрцов, заика, который у Сергия-Троицы послушником: отпустили его монахи повидать дедушку Трифоныча, для Рождества. Оба поют вполголоса стишок, который я ещё не слыхал, как Ангелы ликуют, радуются человеки, и вся тварь играет в радости, что родился Христос. И отец стишка этого не знал. А они поют ласково так и радостно. Отец говорит:

— Ах вы, божьи люди!..

Клавнюша сказал — «все божии» — и за руку нас остановил:

— Вы прислушайте, прислушайте… как все играет!.. и на земле, и на небеси!..

А это про звон он. Мороз, ночь, ясные такие

звёзды, — и гу-ул… все будто небо звенит-гудит, — колокола поют. До того радостно поют, будто вся тварь играет: и дым над нами, со всех домов, и звёзды в дыму, играют, сияние от них весёлое. И говорит ещё:

— Гляньте, гляньте!.. и дым будто Славу несёт с земли… играет каким столбом!..

И Саня-заика стал за ним говорить:

— И-и-и… грает… не-бо и зе-зе-земля играет…

И с чего-то заплакал. Отец полез в карман и чего-то им дал, позвякал серебрецом. Они не хотели брать, а он велел, чтобы взяли:

— Дадите там, кому хотите. Ах вы, божьи дети… молитвенники вы за нас, грешных… простосерды вы. А у нас радость, к Празднику: доктор Клин нашу знаменитую октаву-баса, Ломшачка, к смерти приговорил, неделю ему только оставлял жить… дескать, от сердца помрёт… уж и дышать переставал Ломшачок! А вот, выправился, выписали его намедни из больницы. Покажет себя сейчас, как «с нами Бог» грянет!..

Так мы возрадовались! А Горкин уж и халатик смертный ему заказывать хотел.

В церкви полным-полно. Горкин мне пошептал:

— А Ломшачок-то наш, гляди-ты… вон он, горло-

то потирает, на крылосе… это, значит, готовится, сейчас «С нами Бог» вовсю запустит.

Вся церковь воссияла — все паникадилы загорелись. Смотрю: разинул Ломшаков рот, назад головой подался… — все так и замерли, ждут. И так ахнуло — «С нами Бог»… — как громом, так и взыграло сердце, слезами даже зажгло в глазах, мурашки пошли в затылке. Горкин и молится, и мне шепчет:

— Воскрес из мёртвых наш Ломшачок… — «разумейте, языцы, и покоряйтеся… яко с нами Бог!..».

И Саня, и Клавнюша — будто воссияли, от радости. Такого пения, говорили, ещё и не слыхали: будто все Херувимы-Серафимы трубили с неба. И я почувствовал радость, что с нами Бог. А когда запели «Рождество Твоё, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума…» — такое во мне радостное стало… и я будто увидал вертеп-пещерку, ясли и пастырей, и волхвов… и овечки будто стоят и радуются. Клавнюша мне пошептал:

— А если бы Христа не было, ничего бы не было, никакого света-разума, а тьма языческая!..

И вдруг заплакал, затрясся весь, чего-то выкликать стал… его взяли под руки и повели на мороз, а то дурно с ним сделалось, — «припадочный

он», — говорили-жалели все.

Когда мы шли домой, то опять на рынке остановились, у бассейны, и стали смотреть на звёзды, и как поднимается дым над крышами, и снег сверкает от главной звезды, — «Рождественская» называется. Потом проведали Бушуя, погладили его в конуре, а он полизал нам пальцы, и будто радостный он, потому что нынче вся тварь играет.

Зашли в конюшню, а там лампадочка горит, в фонаре, от пожара, не дай-то Бог. Антипушка на сене сидит, спать собирается ложиться. Я ему говорю:

— Знаешь, Антипушка, нонче вся тварь играет, Христос родился.

А он говорит — «а как же, знаю… вот и лампадочку затеплил…». И правда: не спят лошадки, копытцами перебирают.

— Они ещё лучше нашего чуют, — говорит Антипушка, — как заслышали благовест, ко всенощной… ухи навострили, все слушали.

Заходим к Горкину, а у него кутья сотовая, из пшенички, угостил нас — святынькой разговеться. И стали про божественное слушать. Клавнюша с Саней про светлую пустыню сказывали, про пастырей и волхвов-мудрецов, которые все звёзды сосчитали, и как Ангелы пели пастырям, а

Звезда стояла над ними и тоже слушала ангельскую песнь.

Горкин и говорит, — будто он слышал, как отец давеча обласкал Клавнюшу с Саней:

— Ах вы, ласковые… Божьи люди!..

А Клавнюша опять сказал, как у бассейны:

— Все Божии.

Из романа «Лето Господне». 1927–1948

К. В. Лукашевич. Рождественский праздник

Далёкий Рождественский сочельник. Морозный день. Из окон видно, как белый пушистый снег покрыл улицы, крыши домов и деревья. Ранние сумерки. Небо синеет.

Мы с Лидой стоим у окна и смотрим на небо.

— Няня, скоро придет звезда? — спрашиваю я.

— Скоро, скоро, — торопливо отвечает старушка. Она накрывает на стол.

— Няня, смотри, вон уже звезда пришла на небо, — радостно говорит Лида.

— Эта не та.

— Почему не та? Посмотри хорошенько.

— Та будет побольше… Эта очень маленькая, — говорит няня, едва взглянув в окно.

— Ты сказала до первой звезды, — плаксиво замечает сестра.

— Ведь мы проголодались. Очень есть хочется, — говорю я.

— Подождите, детушки… Теперь уже скоро… Потерпите.

— Дай ты им чего-нибудь перекусить… Совсем

заморила девочек. — Мама услышала наш разговор, вышла из своей комнаты и крепко целует нас.

— Вот ещё, что выдумала!.. Разве можно есть до звезды? Целый день постились. И вдруг не дотерпеть. Грешно ведь, — серьёзно возражает няня. Нам тоже кажется, что это грешно. Ведь у нас будет «кутья». Надо её дождаться. Взрослые целый день постились и не едят до звезды. Мы тоже решили поститься, как и большие… Но сильно проголодались и нетерпеливо повторяем: «Ах, скорее бы, скорее пришла звезда».

Няня и мама накрыли стол чистой скатертью и под скатерть положили сено… Нам это очень нравится. Мы знаем, что это делается в воспоминание величайшего события: Господь наш родился в пещере и был положен в ясли на сено.

Мы не обедали, как обычно, в три часа, а будем ужинать «со звездою», то есть когда стемнеет и на небе загорятся первые звёздочки. У нас будет «кутья» из рису, «кутья» из орехов, пшеница с мёдом и разные постные кушанья из рыбы. Кроме того, на столе поставят в банках пучки колосьев пшеницы и овса. Всё это казалось нам, детям, важным и знаменательным. В нашей квартире так было чисто прибрано, всюду горели лампады;

настроение было благоговейное, и целый день поста, и эта «кутья» раз в году — всё говорило о наступлении великого праздника… Няня, конечно, не раз напоминала нам, что «Волхвы принесли Божественному младенцу ладан, смирну, золото и пшеницу». Оттого в Сочельник надо есть пшеницу.

Папа наш был малоросс, и многие обряды совершались в угоду ему. Где-то далеко в маленьком хуторе Полтавской губернии жила его мать с сестрой и братом. И там они справляли свою украинскую вечерю и «кутью». Папа нам это рассказывал и очень любил этот обычай. Но в сером домике бабушки и дедушки тоже в Рождественский сочельник всегда справлялась «кутья»… Как у них, так и у нас непременно бывал в этот вечер приглашён какой-нибудь одинокий гость или гостья: дедушкин сослуживец или папин товарищ, которому негде было встретить праздник. Справив «кутью», мы отправлялись ко Всенощной. Но мы с сестрой в волнении: ждём чего-то необычайного, радостного. Да и как не волноваться: ведь наступило Рождество. Может быть, будет ёлка… Какое детское сердце не забьётся радостью при этом воспоминании? Великий праздник Рождества, окружённый духовной

поэзией, особенно понятен и близок ребёнку… Родился Божественный Младенец, и Ему хвала, слава и почести мира. Всё ликовало и радовалось. И в память Святого Младенца в эти дни светлых воспоминаний все дети должны веселиться и радоваться. Это их день, праздник невинного, чистого детства…

А тут ещё является она — зелёная стройная ёлочка, с которой сохранилось столько легенд и воспоминаний… Привет тебе, милая любимая ёлочка!.. Ты несёшь нам среди зимы смолистый запах лесов и, залитая огоньками, радуешь детские взоры, как по древней легенде обрадовала Божественные очи Святого Младенца. У нас в семье был обычай к большим праздникам делать друг другу подарки, сюрпризы, неожиданно порадовать, повеселить… Все потихоньку готовили свои рукоделия, мы учили стихи; под Новый год и на Пасху под салфетки каждому клали приготовленные подарки… Нас, детей, это очень занимало и радовало. Подарки бывали простые, дешёвые, но вызывали большой восторг.

Ёлку показывали неожиданно, сюрпризом, и родители, няня и тётушки готовили её, когда мы ложились спать.

За два или за три дня до Рождества мама пе-

чально говорила: «Бедные девочки, нынче им ёлки не будет… Денег у нас с папой нет. Да и ёлки дороги. В будущем году мы вам сделаем большую хорошую ёлку. А нынче уж проживем без ёлки». Против таких слов ничего нельзя было возразить… Но в огорчённой детской душе всё-таки таилась и обида, и смутная надежда. Веришь и не веришь словам мамы и близких.

В первый день Рождества сколько счастливых детских голов поднимается ото сна с радостной грёзой, в которой мерещится хвойное деревце, сколько наивных ожиданий наполняет детское воображение… И как весело, заманчиво мечтать о золотой рождественской звезде, о какой-нибудь кукле, барабане, ярких огоньках на ветвях любимого деревца. У всех детей столько мечтаний, желаний, столько надежд связано с праздником Рождества.

— Лида, Лида, понюхай, ведь ёлкой пахнет, — говорю я, просыпаясь в рождественское утро в самом весёлом расположении духа. Румяное, полное лицо сестры отрывается от подушки. Она уморительно морщит свой маленький нос.

— Да, пахнет… Правда… Как будто бы пахнет.

— А как же говорили, что ёлки не будет в этом году!

— Может, и будет. В прошлом году тоже сказали: не будет. А потом всё было, — вспоминает сестра. Няня уже тут как тут.

— Нянечка, отчего ёлкой пахнет? — серьёзно спрашиваю я.

— Откуда ей пахнуть… Когда её и в помине-то нет… Вставайте, барышни-сударышни. Сейчас «христославы» придут…

— Это дедушкины мальчишки?

— Наверно, со звездою. Дедушка им красивую склеил.

— Конечно, наш забавник старался для своих ребят… Была я у них, весь пол в кабинете замусорен, точно золотом залит… А звезда горит, переливается… Вот увидите, что это за звезда.

В то далёкое время был обычай «христославам» ходить по квартирам «со звездой» и петь рождественские песни. Обыкновенно в каждом доме собиралась местная беднота: мальчики-подростки выучивали рождественские песни, делали звезду и шли по квартирам славить Христа. Не успеешь одеться, умыться, как, бывало, няня скажет: «Пришли со звездою». Слышим топот детских ног и партия человек шесть-десять войдёт в комнату. Мальчики встанут перед образами и запоют «Рождество Твоё» и «Дева днесь»…

Затем громко поздравят с праздником. Иногда это пение выходило очень стройно и красиво. Было что-то трогательное и праздничное в появлении «христославов». Мы с сестрой очень это любили, радовались и с нетерпением ожидали их прихода.

«Христославы» приходили в первый день несколько раз. У нас никому не отказывали: всех оделяли копейками и пряниками… Но мы особенно ждали «дедушкиных мальчишек». Мы бы узнали их из тысячи, они появлялись с такой прекрасной, замысловатой звездой, какой ни у кого не было. Ведь её делал сам наш художник — дедушка. Даже нянечка, и та как-то особенно ласково и приветливо говорила:

— Ну вот, наконец-то и дедушкины ребята идут.

Мы замирали от волнения… Ребята застенчиво входят в комнату, а впереди них двигается прекрасная золотая звезда… Она на высоком древке, кругом золотое сияние — дрожит и переливается… А в середине — изображение Рождества Христова.

— Видишь, Лида, там Христос родился, — указываю я сестре на звезду.

— Вижу… Это дедушка нарисовал… Знаю…

Нам казалось, что дедушкины мальчики пели как-то особенно громко и стройно… Знакомые приветливые лица «босоногой команды» улыбались нам с сестрой… А мы конфузились и прятались за няню, за маму. «Дедушкиных мальчишек» оделяли, конечно, щедрее других. Их даже поили горячим сбитнем… Как они бывали рады и долго вспоминали об этом.

В первый день Рождества несколько омрачалось наше радостное настроение… Мы не знали, будет у нас ёлка или нет…

— Мама говорит, что не будет…

— А почему она смеётся? — взволнованно говорю я сестре. — Отвернулась и засмеялась…

— Она всегда смеётся…

— А почему дверь в их комнату закрыта? И ёлкой пахнет!..

— Мама сказала, что там был угар… И комнату проветривают… Холодно там.

Рассказ про угар похож на правду, и начинаешь ему верить. Всё-таки волнение не покидает нас. И мы таинственно советуемся:

— Можно подглядеть в щёлочку.

— Нет, нянечка говорила, что нехорошо подглядывать.

Но искушение бывало так велико, что мы украд-

кой подглядывали в щёлочку… И видели что-то прекрасное, сверкающее, зелёное… Похожее на ёлку… Бывало, в своём уголке мы уже переиграем в «христославов», устроим из какого-нибудь цветка куклам ёлку. Но когда придут бабушка и дедушка с тётями и принесут в руках пакеты, то надежда снова наполнит наши сердца… Вскоре тётя Манюша займёт нас рассказом… Заслушаешься и забудешь на время о ёлке… Вдруг мама запоёт что-нибудь весёлое… И нас торжественно введут в закрытую комнату. Дверь распахнулась — и там сияет огнями ёлка. Не знаю, хорош ли был старинный приём внезапно радовать детей ёлкой. Восторг бывал так силён, что дух захватывало от радости. Стоишь долго, рот разинув, и слова не можешь сказать. Глаза сверкают, щёки разгорятся и не знаешь, на что смотреть. А мама с папой схватят за руки и начнут кружиться вокруг ёлки с песнями.

Ёлка наша бывала скромная, маленькая, но убранная красиво, с любовью. Под ёлкой лежат подарки. Каждый чем-нибудь порадует другого. Тётеньки вышили нам передники. Бабушка сшила по мячику из тряпок. Папа с дедушкой сделали скамейки; мама нарисовала картинки. Няня одела наших кукол. Мы тоже всем сделали

подарки: кому стихи, кому закладку, кому связали какие-то нарукавнички. Все было сделано по силам и с помощью няни. Взрослые, особенно мама и тётеньки, с нами пели и плясали кругом ёлки. Было весело. Но, к сожалению, в раннем детстве на наших ёлках и праздниках никогда не бывало детей; у нас совсем не было маленьких друзей… Помню, как-то раз няня привела детей прачки и посадила под ёлку. Сначала мы думали, что это огромные куклы… Но когда рассмотрели, то не было предела восторгу и радости. Мы не знали, как и чем занять, повеселить и одарить наших друзей… Ребёнок всё же рвётся к обществу своих сверстников, к детским интересам и играм с товарищами. И кажется, та наша ёлка, когда у нас были в гостях дети прачки, была самая весёлая и памятная.

Совсем другие ёлки бывали у дедушки… На них бывало слишком много детей. «Папенька для своих мальчишек старается, а вовсе не о внучках думает», — недовольным голосом говорила тётя Саша. Но и внучки бывали в неописанном восторге от дедушкиной ёлки. В маленькой квартирке серого домика скрыть само деревцо бывало невозможно… И мы его видели заранее — прелестное и разукрашенное затейливыми

цепочками, фонариками, звёздами и бонбоньерками. Всё это дедушка клеил сам, и ему помогали папа и мама…

Но, кроме ёлки, на празднике нас и ребят «босоногой команды», которых в кабинете дедушки набиралось человек двенадцать-пятнадцать, всегда ожидал какой-нибудь сюрприз, который нас радовал и увлекал не менее ёлки. Наш затейник дедушка делал удивительные вещи: ведь он был мастер на все руки. «Что-то покажет нам дедушка? Что он ещё придумал?!» — волновались мы с Лидой. Нас и других гостей отправляли в кухню, а в кабинете слышался шёпот нетерпеливых голосов. Дедушка шёл в залу и там сначала звонил в какие-то звонки, затем в свистульку, кричал петухом. После садился за своё фортепиано и сам играл старинный трескучий марш. Он только его и знал. Под этот марш мы выходили из кухни, а мальчишки — из кабинета. Их обыкновенно выводила мама или наш отец. Мы все под дедушкин марш обходили ёлку и садились на приготовленные скамейки. Сразу же начиналось представление. Каждый год оно бывало различное: однажды дедушка устроил кукольный театр, и все его бумажные актёры говорили на разные голоса, кланялись, пели, танцевали, как насто-

ящие. В другой раз он показывал фокусы. При этом у него на голове была надета остроконечная шапка и чёрная мантия с золотыми звёздами. Наивные зрители были поражены, как это у дедушки изо рта выходит целый десяток яблок, из носа падают монеты, исчезает в руках платок. Мы все считали его великим магом и чародеем.

Но лучше всего дедушка устраивал туманные картины. При помощи нашего отца он сам сделал великолепный волшебный фонарь, сам нарисовал на стёклах массу картин: это были вертящиеся звёздочки, прыгающие друг через друга чертенята, вырастающий у старика нос необыкновенных размеров… При этом все показываемые картины старик пересыпал рассказами и прибаутками, шутками; показывая на экране какую-то тощенькую девицу, он говорил: «Вот вам девица Софья, три года на печи сохла, встала, поклонилась, да и переломилась. Хотел её спаять, не будет стоять; хотел сколотить — не будет ходить… Я взял её иголкой сшил и легонько пустил».

Все, конечно, покатывались от смеха, особенно мальчики.

После представления шло веселье вокруг зажжённой ёлки. Дедушка играл свой марш, и

ребята ходили и даже плясали… Помню, что всех ребят, как и у нас, поили горячим сбитнем и чем-то угощали… Под конец бывал такой номер, против которого всегда восставали бабушка и тетки. И нам в нём строго было запрещено участвовать. Но нас он занимал и привлекал, и мы завидовали, что не можем принять участия. Ёлку тушили; дедушка валил её на пол и кричал: «Разбирай, ребята!» Тут уже начиналась свалка, крики и шум. Ребята бросались на ёлку и очищали её до последнего пряника… Затем со смехом выволакивали на двор и там обдирали даже ветки…

Дедушка бывал очень весел и доволен за свою босоногую команду. Он сам превращался в ребёнка: пел, шутил, возился, играл свой марш… Каким светлым лучом бывал этот праздник в сереньком домике для ребят горькой бедноты, которые попадали на эту ёлку «советника». Она им снилась целый год и блестела ещё ярче, чем та рождественская звезда, которую клеил им дедушка и с которою они славили Христа.

Из повести «Моё милое детство». 1914

Н. И. Манасеина. Кирюшка

Без матери

Плохо жилось Кирюшке, как умерла его мать, прачка Лизавета. И при матери ему жилось не так чтобы уж очень хорошо. Бывало и холодно, и голодно, и больно от колотушек. Прачка Лизавета стирала и гладила днём, а ночью кашляла, и оттого, что она через силу работала и никогда не могла отдохнуть как следует, она легко раздражалась и, под сердитую руку, била сына. Побьёт она, бывало, Кирюшку, сильно иногда побьёт, а потом сейчас и пожалеет, и чем сильнее побьёт, тем сильнее пожалеет.

И Кирюшка, как только мать его приласкает, так всю обиду сразу забудет, голову под материнский серый байковый платок запрячет, носом и щеками трётся. А мать его ласкает и всё что-то хорошее приговаривает, а иногда вдруг скажет:

— И на кого я тебя покину, Кирюшка?

Скажет и замолчит. Тогда Кирюшка высунет из-под платка одно большое ухо и маленький, косо посаженный глаз.

— А и врёшь, никуда ты от меня не уйдёшь, всё равно назад вернёшься, уж я знаю.

Но Кирюшка жил на свете всего шесть лет и

пять месяцев, мать жила гораздо дольше и уже по этому одному знала больше сына.

Не хотелось ей покидать Кирюшку, а пришлось.

Умерла прачка Лизавета. Остался Кирюшка без матери.

Родных у него не было, и он жил всё у той же квартирной хозяйки. Только с матерью они угол снимали, а теперь угол этот сдали другой прачке, а Кирюшка определённого места не имел, днём бродил по всей квартире, а ночью пристраивался где-нибудь в уголке.

Квартира, в которой было две комнаты и кухня, сдавалась по углам, жильцы — все люди рабочие, по целым дням не бывали дома. Кирюшка присаживался то у одного окна, то у другого, мастерил что-нибудь на подоконнике; когда не было большого мороза, выбегал во двор и, подвязав свой единственный конёк, пробовал скользить по обледеневшим камням. Так он и при матери жил.

Голоден он бывал редко. Кроме квартирной хозяйки, все жильцы старались выделить ему что-нибудь из своей еды, а по праздникам заводили разговор о том, что мальчика нужно определить в приют.

Кирюшка сначала внимательно прислушивал-

ся к этим разговорам, всё ждал, что его в приют определять станут, а потом и ждать бросил. Понял, что всё это так, разговоры одни, и всем тётенькам и дяденькам не до него. У каждого своё дело, свои заботы и очень мало свободного времени, чтобы ещё хлопотать о чужом ребенке.

А Кирюшка был мальчик тихий, не шумливый, серьёзный, никому не мешал, никому на глаза не совался. Подойдёт, сядет смирнёхонько и только смотрит да слушает. Говорил он совсем мало, и не столько от робости, сколько потому, что его никогда никто ни о чём не спрашивал, а когда Кирюшка начинал что-нибудь рассказывать, то тётеньки и дяденьки его плохо слушали, всё больше о своём думали.

Жила у них в углах Маня, девочка лет двенадцати; она в школу учиться ходила. Мане этой тоже не до Кирюшки было. Она, как и другие, о своём думала, и ей было некогда его слушать. А девочка она была добрая: огрызок карандаша ему подарила и синюю обёртку от старой тетрадки. На чистой стороне этой обёртки можно было рисовать. И Кирюшка рисовал, только недолго. Карандаш скоро истёрся, а чинить никто не взялся: ухватиться было не за что. Так Кирюшка и остался без карандаша.

Отчего в праздник скучно?

Время подходило к Рождеству. Стояли морозы, и на улице в дырявых валенках и летнем пальто было холодно. Приходилось сидеть дома, а дома было скучно, и особенно скучно делалось по праздникам, тогда, когда всем становилось веселее.

Наступил первый день Рождества. Сквозь морозные узоры оконных стёкол подвального этажа пробилось солнце, и зайчики заиграли по чисто мытому полу.

В квартире всё было по-праздничному. У кроватей чистые ситцевые занавески повешаны, столы и табуретки добела вымыты, а перед образами лампадки теплятся. Жильцы в церковь ходили, хотели Кирюшку с собой взять, да только мороз большой, а у него пальто летнее и валенки дырявые.

Так и не взяли. А как вернулись из церкви, стали каждый у своего столика кто чай, а кто кофе пить.

Кирюшку везде угощали. Выпил он чашечку и у толстой торговки, что яблоками торговала, выпил другую у прачки, что занимала их угол,

где он прежде с матерью жил. Манина мать и торговка швабрами его кофе напоили. Звали ещё и другие, а только он больше не мог. Сказал: «Благодарствуйте, тётеньки».

И за обедом его все угощали. Плотно поел Кирюшка, да и жильцы поели плотнее, чем всегда. К празднику каждый себе мясное сварил. А как посуду убрали, все до одного спать полегли. Устали, от работы ещё не отошли, всем отдохнуть хотелось.

Девочка Маня в школу ушла. Ей учительница велела придти помогать ёлку убирать. Зажигать ёлку на второй день хотели.

Кирюшка к окошку на табуреточке уселся.

Смотреть в комнатах не на что, все за занавески попрятались, а из окошка тоже ничего занятного не увидишь. Окошко в подвале, из него, если даже на самый подоконник влезть, от человека только сапоги да калоши увидишь.

На дворе такой мороз, что и во всем тёплом холодно. В голове у Кирюшки всё мысли, да такие невесёлые. Остался он при одном коньке. Мать к праздникам непременно второй обещала, да не вышло.

И до сапог тех, что матери с господского мальчика подарили, Кирюшка всё ещё не дорос. Думал,

дорастёт к празднику, и тоже не вышло.

Скучно прошёл первый день, а как второй подошёл, ещё скучнее стало.

Все жильцы собрались и в гости ушли.

Кирюшка и сам любил в гости ходить. Прежде с матерью они часто ходили. Принарядится, бывало, прачка Лизавета, вихры сыну частым гребнем вычешет, маслом голову вымажет, рубашку из-за пояса выправит, и пойдут. А в гостях чай пьют, угощаются, разговаривают. Под разговоры чай легко пьётся. Блюдечек не считают, только подставляй. Хорошо в гостях! А как умерла мать, Кирюшку никто в гости не брал. Не брали и не звали.

Жильцы, как уходили, все сказали, что до вечера дома не будут, одна Маня хотела ещё домой забежать.

— Сейчас к бабушке пойдём, — скороговоркой объясняла она, — потом к дяденьке, а от дяденьки домой. Белый фартук надену и — в школу на ёлку. А с ёлки к крестной. Там мы с мамкой и заночуем.

Много было у Мани мест, куда в гости ходить.

Остались дома квартирная хозяйка да Кирюшка. Хозяйке никуда уйти нельзя — у неё квартира, а Кирюшке идти некуда.

Стала хозяйка гостей поджидать, да те что-то не шли, а Кирюшка и не ждал никого; не ходил никто к нему. Вот так-то, от разного как будто, а только им обоим одинаково скучно стало.

Хозяйка лампадку поправила, в кухню пошла, щи на край плиты отодвинула, раз-другой лениво по квартире прошлась, а потом и на кровать улеглась.

— Сосну я минуточку, — сказала она Кирюшке, — а ты, если кто придёт, меня разбуди!

Хозяйка похрапывает на постели, часы тикают. На стенке, возле Маниной кровати, белый фартук висит, туго накрахмаленные оборочки растопырил. В квартире чистота, тишина, скука сонная.

Поглядел Кирюшка в окошко, но стекло замёрзло. Подул, рукавом рубахи потёр, а только, как ни старался, ничего, кроме старого и скучного, не увидал. Всё камни, лужицы подмёрзшие, даже сапог и калош что-то долго нет. Не проходит никто. А вот и калоши, да ещё знакомые…

Неказистый кавалер

Хлопнула входная дверь. Маня вошла.

— Засиделись у дяденьки, — объявила она, быстро снимая пальто и платок. — Причешусь, фартук надену — да и в школу, а из школы к крёстной. А ты чего невесёлый? — спросила она Кирюшку.

— Я ничего, — ответил Кирюшка и отвернулся к окошку.

— А делал что? — допрашивала Маня.

— А ничего, сидел всё, — не оборачиваясь, ответил мальчик.

Маня посмотрела на вздутую на спине рубашку, на большие уши, на рыжеватый затылок с забегавшими на шею косицами.

— Кирюшка, а Кирюшка! — окликнула она, но уже каким-то другим голосом.

Чуткое ухо Кирюшки уловило перемену, и он чуть-чуть повернулся к ней.

— Слушай, что я тебе скажу, — быстро и с увлечением заговорила Маня, — пойдём-ка со мной на ёлку в школу. Нечего тебе здесь одному сидеть. Хочешь?

— Хочу, — как-то внутрь себя произнёс маль-

чик, и его глазёнки заблестели.

Что значит «ёлка», он ясно себе не представлял, но в слове «пойдём» было столько заманчивого, что его большой рот раздвинулся до самых ушей.

Сборы были непродолжительные. Маня ещё с утра оделась по-праздничному, а у Кирюшки в запасе и не было ничего лучшего. Маня, оглядев мальчика ещё раз, даже пожалела, что сгоряча его пригласила, но делать было нечего. Не оставлять же его дома, когда он уже и шапку, и пальто себе достал.

— Ну, а сапог-то у тебя разве нет? — спросила она, косясь на дырявые валенки.

— Есть, да большие, — виновато ответил мальчик.

— Всё лучше, чем валенки, — решила Маня. — Обувайся-ка поскорей!

Кирюшка вытащил из-за кухонной перегородки сапоги. Обулся, встал на ноги и весь ушёл в сапоги.

— Говорил же, что большие, — проговорил он, поднимая на Маню смущённые глаза. — Барыня подарила, а мамка сказывала, что надо подождать, когда подрасту.

— А ну-ка, походи, — предложила Маня. Кирюшка прошёлся. От его топота проснулась

хозяйка.

— Никак куда собрались? — спросила она, высовывая голову из-за ситцевой занавески, закрывавшей кровать.

— Да вот, хочу его на ёлку в школу взять, — сказала Маня. — Учительница позволила брата или сестру привести, так чем месту-то зря пропадать, пускай он сходит.

— Ну что ж, идите себе с Богом. Да кавалер-то у тебя больно неказистый, Маня, — оглядев ребят, заметила хозяйка.

— Ну, ничего, как-нибудь, — ответила девочка. — Там народу будет много, и не рассмотрят.

Собрались и пошли.

Хозяйка к окошку подошла, даже присела, чтобы поглядеть, как они по двору пойдут.

У Мани новое платье из-под пальто так и торчит, башмаки тоже новые, на голове платок байковый. Исправная девочка. Ну, а Кирюша рядом с ней сплоховал. В сапогах чуть не тонет, пальто рыжее и самое летнее, а шапка, если бы не его большие уши, прямо бы на плечи слезла.

Новые гости

В небольшой зале, освещённой висячей лампой, давно уже не хватает места, чтобы сидеть, а пространство, чтобы ходить, всё сокращается. Почти никто не пришёл в одиночку. Учительница позволила привести каждой ученице брата или сестру, но среди девочек нашлись и такие, что привели и брата, и сестру.

— Ты что же это, никак троих привела? — слышится вопрос.

— Ничего не поделаешь, следом бегут, — виновато отвечает бледная девочка с рыжей косой, а из-за её юбки выглядывают дети, похожие на испуганных и любопытных мышат.

— А меня Аннушка с двоими насилу пропустила, — заявил кто-то из угла комнаты.

Маленькие жмутся к старшим, прячутся за юбки, выглядывают из-за спин.

Никто громко не говорит, но все гудят, точно пчёлы в улье, и гудение это разом смолкает при появлении новых гостей. Общее внимание на некоторое время сосредоточивается исключительно на них.

— Ишь как расфрантилась! Сапоги на пугов-

ках, — перешептываются девочки, разглядывая во все глаза входящую Лизу Рассолову.

Стуча каблуками и шурша подкрахмаленными оборками, она бойко и с достоинством человека, вполне уверенного, вошла в залу. Но не успела она поздороваться и с половиной собравшихся, как вдруг почувствовала, что уже что-то случилось. Она обернулась. В дверях стояла Люша Александрова, вся в локонах, в жёлтых туфлях с помпонами, в красном шерстяном платье с широким голубым поясом.

Такого великолепия никто не ожидал. Восторг, вызванный Люшей, захватил всё общество. Но вот новые гости — в залу входила Маня со своим спутником.

От смущения Кирюшка как-то ещё больше ушёл в свои сапоги. Эти сапоги и большие, покрасневшие от мороза уши прежде всего бросались в глаза. Пальто он не снял. Идти было далеко; он промёрз, и Маня решила, что так, не раздеваясь, он скорее согреется, а жарко не будет, пальто летнее, всё равно что пиджак. Сразу попав на свет и в толпу, мальчик оторопел и, крепко сжав Манину руку, исподлобья косился на всех.

— Это кто же? Брат? Какой смешной! А уши-то какие! А сапоги! — слышалось вокруг Кирюшки,

и он, смущаясь ещё больше, всё ниже опускал голову, а над ним Маня спокойно и рассудительно объясняла девочкам, что это не брат, а просто так, мальчик с квартиры.

— А Вера Павловна только братьев приводить велела, — наставительно вставил кто-то, но Маня ещё вразумительнее объяснила, что чем месту зря пропадать, пусть хоть мальчик с квартиры на ёлке побывает. И ещё Маня рассказала, что Кирюшка сирота, что ему скучно, и рассказала это так, что все сразу поняли, что Кирюшке самое место на ёлке! И Кирюшка это понял, поднял голову и чуть-чуть с ласковой застенчивостью всем улыбался, сказать что-то хотел, да не успел. Вдруг такое началось, что он так с открытым ртом и остался.

Праздник

Дверь в классную распахнулась. Тесня друг друга, бросились туда дети, а там, среди большой комнаты, стояла, сверкая и блестя, огромная ель, а в уголке теснились, расчистив ей место, нагромождённые друг на друга чёрные классные столы.

Сотни глаз впились в ёлку, сотни взволнованных дыханий всколыхнули застоявшийся воздух, пропитанный свежим запахом хвои. Ель дрогнула и, точно живая, колыхнула всем навешанным на ней золотом. А потом девочки, те, что постарше, стали ходить вокруг дерева хороводом и пели что-то очень хорошее, но совсем непонятное Кирюшке, а он тихо стоял в сторонке у стенки, слушал своими большими ушами и смотрел, не мигая, маленькими, но зоркими глазами.

Потом дети играли в разные игры и водили хороводы. Звали и Кирюшку, а только он не пошёл, он и так не скучал, ему и так весело было. Когда в кошки-мышки играли, так он даже приседал от волнения, когда кошка мышку настигала. Кошкой был мальчик худой и юркий, а мышкой девочка, маленькая, толстая, но очень быстрая.

Долго кошка поймать мышку не могла, зато как поймала, так вцепилась, что с трудом оттащили. Ну, а потом, как все устали и свечи на ёлке догорели, тётенька, та, которая всем распоряжалась, велела детям на пол сесть. Маленьких вперёд пропустили. Кирюшка не из больших был, так он впереди очутился.

Сели все, и вдруг с потолка белую занавеску спустили. Огарки на ёлке потушили. Запахло свечами, хвоей палёной. Темно стало, так темно, что друг друга никто не видел, а видели все одну белую занавеску, и по занавеске этой вдруг санки полетели. Уж кто там видел, кто кого вёз, Кирюшка не разобрал. Видел какие-то рога, рога прямо на него лезли, а он от них назад пятился. Потом на занавеске человек в белом колпаке с петухом дрался, какие-то люди кверх ногами на головах стояли… Было что посмотреть! И все смотрели, охали, ахали, ещё просили.

Потом занавеску опять под потолок убрали, лампы зажгли, и стала та, которая всем распоряжалась, подарки раздавать. И чего только она всем не надавала! Комодики, шкапчики со стёклами, куколки, книжки с картинками, плиты с приборами, копилки, пеналы, корзиночки, посуда чайная…

Всего у неё много было, а только всё-таки всем не хватило.

— Мне, мне ничего не дали.

— А мне что же? — раздавалось кругом. Одна маленькая, так даже расплакалась. Самой стыдно, голову в сестрину юбку запрятала, а руку тянет. Плачет да просит куклу. Ну а у той, которая всем раздавала, уже нет ничего. Всё, что на столе было, всё как есть, раздала. А кругом всё просят. Отказывать ей, видно, не хочется. Велела тем, кто ничего не получил, подходить, а сама стала с ёлки всё золото снимать. Снимает и раздаёт.

Подошёл и Кирюшка. Точно ёжик, застучал он по полу своими сапогами.

Рыбку золотую ему дали, сама рыбка вся золотая, а пёрышки по краям зелёненькие.

Поздно уже было. Некоторые из маленьких даже спать захотели.

Насмотрелись, устали, запросились домой. Стали все собираться, в платочки подарки и угощения завязывать.

Маня очень хлопотала, помогала маленьким, вещи им разыскивала, одевала их. Были такие, что позабыли, в чём пришли.

Кирюшка всё за Маней следом ходил, а потом это ему и надоело. Суетня, писк, возня. Пошёл он

ещё раз на ёлку посмотреть. Какая она сделалась, когда с неё всё поснимали?

В классной ни души. Одна настенная лампа горит. Столы в уголке чуть чернеют. На тёмной хвое кое-где что-то поблёскивает, а что — не разобрать с порога.

Шагнул Кирюшка, и захрустели под его подошвами ореховые скорлупки. Испугался он, оглянулся. Нет никого, ёлка да он. Подошёл Кирюшка к самому дереву, стал вокруг обходить, пальцем хвою потрогал.

— Вот она какая! — тихонько про себя проговорил он и на пол в уголочке за ёлкой присел.

— Пускай, — думает, — Маня сюда за мной придёт, лучше я здесь пока посижу, а то там теснота, давка… Хорошо здесь…

Под ёлкой

Ушли последние гости, и Аннушка, школьная прислуга, заперев на крючок кухонную дверь, взялась за щётку и пошла класс подмести, но в коридоре встретилась ей Вера Павловна.

— Не надо. Завтра всё уберёте, — сказала она.

Так Аннушка и ушла обратно к себе в кухню.

Вера Павловна осталась в квартире одна. В квартире тишина. После детского гама кажется как-то особенно тихо. Тихо, одиноко и скучно. Часы тикают, где-то обои трещат. Прошла Вера Павловна в класс, осмотрелась, не забыл ли кто чего. Нет, всё чисто подобрали, на полу одни скорлупки да бумажки от леденцов валяются. И на ёлке ничего не осталось, кроме дождя.

Каждый год собирается Вера Павловна спрятать украшения, чтобы не покупать к следующему, и каждый год это ей не удаётся. Денег едва хватает на подарки одним ученицам, а отпустить с пустыми руками никого не хочется.

Вера Павловна подошла к ёлке совсем близко. Остановилась. Стоит, смотрит, прислушивается. Странный звук… точно сопит кто-то… Да, сопит… Вера Павловна заглянула под ель. Она была бли-

зорука и не сразу разобрала, что это за тёмный комочек на полу лежит. Наклонилась к комочку Вера Павловна и тогда только всё разглядела: и маленького мальчика, и большие сапоги, и даже хвостик золотой рыбки, торчащий из зажатой руки.

Но как низко не наклонялась Вера Павловна, как ни всматривалась в лицо спящего, а всё-таки не вспомнила, с которой из девочек она его вместе видела. У неё на ёлке столько гостей и столько хлопот было, что всех детей она рассмотреть не успела.

И решила Вера Павловна не будить мальчика, пока за ним не придут. Придти должны с минуты на минуту, потому что нельзя так ребёнка забыть, чтобы о нём не вспомнить. Сестра забудет, так мать или отец вспомнят и прибегут. Пускай спит себе пока мальчик. Может быть, он и сказать не умеет, где живёт. Проснётся, домой запросится, а куда его вести, неизвестно. Нет, пускай себе спит спокойно.

Долго сидела над мальчиком Вера Павловна. Всё ждала, но никто не приходил. Наступила ночь. Озяб Кирюшка, как шёл на ёлку, насмотрелся всего, устал страшно и спал так, что не слышал, как Вера Павловна взяла его на руки, раздела и

уложила на составленные два кресла. Ничего не слышал Кирюшка, крепко его сон взял.

Утром проснувшись, он долго не понимал, где он и что с ним. Всё молчал, всё исподлобья заячьими глазками косился. Только как ёлку увидел, сразу всё вспомнил, понял, что это он на ёлке остался, и отвечать на расспросы стал. Рассказал Кирюшка, что пришел на ёлку с девочкой Маней и что живёт он в доме, где лавочка. Но в школе девочек, которых звали Манями, было много, а на улицах домов с лавочками и того больше. Вера Павловна и Аннушка хорошо поняли только одно, что некому торопиться искать Кирюшку, потому что матери у него нет.

Потом Аннушка на целый день в гости ушла.

Как хорошо вдвоём

Остались Вера Павловна и Кирюшка вдвоём. Пили они вместе чай, сладкий-пресладкий, булка поджаристая, свежая. А за чаем всё разговаривали. Вера Павловна спрашивала Кирюшку, а он всё рассказывал. Давно его так не расспрашивали, давно его так не слушали! И рассказывал же Кирюшка всё, что упомнил: и про второй конёк, который мать непременно к праздникам подарить хотела, не забыл, и про то, как его в приют определять хотят, да всё почему-то не определяют.

Слушала Вера Павловна и вдруг точно заскучала. Кирюшка ей про свои сапоги говорит, объясняет, что не дорос ещё до них, а сам всё на Веру Павловну поглядывает. «Заскучала, совсем заскучала», — думает.

— Вы бы, тётенька, в гости куда прошлись, — вдруг предложил он.

Удивилась Вера Павловна.

— Это зачем же ты меня в гости посылаешь?

— А так, потому что праздник. Чего же вам так-то сидеть? А что Аннушка ушла, так это ничего. Квартиру я постеречь могу. На меня часто

оставляли.

Рассмеялась Вера Павловна.

— Спасибо тебе, а только в гости не пойду.

— Или не зовут? — с участием поинтересовался Кирюшка.

Совсем развеселилась Вера Павловна. Громко так рассмеялась. Сама говорит: «Не зовут», — а сама смеётся. Смеяться-то оно как будто и нечему, а она всё смеётся.

Чудно! Так и не понял Кирюшка, чему она так смеялась.

Потом они вместе стали смотреть разные картинки, а потом обедать сели.

А за обедом вдруг — как позвонят в прихожей!

Кирюшка сразу весь красный сделался и ложку из рук выронил. Думал, за ним пришли, а это почтальон письмо подал.

А как совсем стемнело, Вера Павловна ёлку зажгла. Кроме дождя, ничего на ней не было, да и свечей было меньше, чем накануне, а только эта ёлка Кирюшке ещё больше вчерашней понравилась. Он так и Вере Павловне сказал, а она, ничего не ответив, его на руки взяла и крепко к себе прижала. И так они, не говоря ни слова, вдвоём и сидели, и слышал Кирюшка, как сердце стучит, а его ли это сердце стучало или её, разобрать

не мог. Так же это бывало, когда он под платок матери забирался.

И вдруг опять звонок.

Ещё больше, чем за обедом, испугался Кирюшка. Весь даже затрясся и разом на ноги стал.

На этот раз уж это за ним пришли, да не одна Маня, а с квартирной хозяйкой.

Приютили

Хозяйка как увидала Кирюшку рядом с Верой Павловной, так сразу креститься стала.

— А я думала, замёрз он, — говорит.

Ну а потом кричать на Кирюшку начала, забранилась:

— Ах ты, такой-сякой, — говорит. — Время мне тебя разыскивать. Страху из-за тебя такого натерпелась, что до сих пор ноги трясутся…

И рассказала она Вере Павловне, как испугалась, когда Маня с матерью домой вернулись. Думала она, что Кирюшка с ними, а как увидала, что Кирюшки нет, так и обмерла.

Маня сконфуженно молчала. Дома ей от всех попало, да перед Верой Павловной стыдно. Всегда её в школе за исправную девочку считали, и вдруг такая неприятность вышла.

— Уж нечего сказать, хороша! — стыдила Маню хозяйка. — Ведь этакая обуза на шее. Нет уж, покорно благодарю, вот только дождусь, как праздники кончатся, и прямо тебя, батюшка, до греха, без всяких разговоров, в приют!

Тётенька была взволнована и сердита и слово «приют» выкрикнула как-то зловеще.

Кирюшка изо всех сил сжал руку Веры Павловны и прижался к ней всем телом.

А тётенька командовала:

— Живо одевайся! Некогда мне здесь с тобой прохлаждаться.

У Кирюшки даже сердце остановилось, а ноги точно приросли к полу. Такими ногами сапог ни за что не поднять, а идти нужно.

И вдруг слышит Кирюшка:

— Мальчика я пока у себя оставлю. Некогда вам о нём хлопотать, а мне и в приют его легче пристроить, чем вам.

Это Вера Павловна говорит, а хозяйка ничего, не спорит. Отдаёт, значит. А только Кирюшка, пока дверь на крючок не заложили, всё не верил, что его не заберут.

Потом, за руку, они вдвоём пошли опять к ёлке.

— У тебя, значит, я жить буду, что ли? — тихонько спросил Кирюшка. — А?

— Да, у меня будешь жить, — ответила Вера Павловна. Хотела она ещё одно слово «пока» прибавить, да в эту минуту догоревшая свеча подожгла хвою.

Вера Павловна бросилась тушить. Так этого слова она и не сказала.

1929

А. В. Круглов. В канун Сочельника

Вечер стоял прекрасный. Погода была свежая, бодрая, но не такая холодная, что «боязно нос высунуть». Небо тёмно-синее, чистое, всё звёздочками усеяно, а звёздочки так и мигают в безбрежной высоте, точно улыбаются оттуда. Снег, как белою скатертью, обтянул все улицы. Идёшь — под ногами хрустит. И что-то праздничное, бодрящее разлито в воздухе, будто не только люди, но и вся природа напряжённо и нетерпеливо ждёт Рождества. Улицы против обыкновения людны, во всем городе оживлённо, потому что открылась мясная ярмарка и продажа ёлок, разных украшений и игрушек в балаганах уже началась. Из уезда много народу наехало: кто за покупками, кто за детьми, чтобы взять их на святки домой… Движение, шум, говор даже там, где в обыкновенное время царит полная тишина. Сани то и дело проносились мимо нас, со свистом прорезывая снег полозьями и обдавая нас изредка комьями снега. От лошадей пар валил… Нам было весело, шутя и болтая, бежали мы по Копленской улице.

— А того-то медведя надо купить непременно! — заявил вдруг Петя.

Мы уже заранее ходили на рынок — приглядеться и прицениться, теперь шли мы, чтобы покончить дело с покупками.

— Какого медведя? — спросил я.

— А что в балагане Волкова… на дыбы встал, неужели забыл?

— А-а… помню!

— Надо купить!

— Медведь хороший… только…

— Что?

— Дорог ведь он, Петя!

— Что за важность! Нынешний год — не прошедший: есть на что!..

— Так-то так… да ведь не один медведь!

— Знаю, что не один… так что же?

— Хватит ли?

— Вот еще выдумал… Давай — сочтем… Свечей…

И мы, бежа вприпрыжку, начали снова делать умственные выкладки.

Вдруг в воздухе пронёсся резкий свисток локомотива.

Я невольно вздрогнул.

— Что ты? — рассмеялся Петя. — Ведь это ма-

шина… вагоны собирает к поезду.

— Разве уж семь скоро?

— Да как же? Мы в шесть вышли!

Вокзал железной дороги находился в стороне, в нескольких саженях от нас.

— А ведь сейчас Володя Козырев уезжает! — произнес я в виде замечания.

— Говорил разве тебе?

— Говорил… Я видел его вчера.

— Давай забежим? — предложил Петя.

— Зачем?

— Да так… Володьку проводим…

— Успеем ли?

— Ещё бы! Рынок до десяти открыт…

Я согласился, и мы свернули в переулочек, который вёл прямо к вокзалу.

Народу было довольно много, так как крестьяне, служащие в городе, спешили на праздники домой. Локомотив, маневрируя, бегал по рельсам, прицепляя один за другим небольшие вагоны. Раздавались резкие свистки, чугунное чудовище пыхтело, выпуская клубы пара, которые эффектно расплывались в воздухе. Мы везде искали отъезжающего товарища, но не могли его найти. Между тем пробил уже первый звонок.

— Да где же он? — недоумевали мы, ходя по

платформе.

— Верно, уж уехал, — решил Воронцов.

— Да когда же?

— Вчера, видно!

— Поздно было…

— Ну, завтра… далеко ли ему ехать?

— Батюшки мои! Родимые! Ох, беда-бедёшенька! — вдруг точно вырвался откуда-то болезненный крик, выделившись отчётливо среди общего говора и гама, царивших на платформе.

— Что это? — вопросительно посмотрели мы с Петей друг на друга.

И мы бросились туда, где уже собралась небольшая кучка людей.

— Батюшки мои! Сердешные! Что же мне теперь делать-то?

Какая-то старуха в нагольном полушубке, в поношенном платке на голове сидела на холодных плитах платформы и рыдала.

— Что ты ревёшь? Что такое случилось? — спрашивали её.

— Ох, батюшки! Тошнёхонько мне… помрёт он теперь… не видючись со мной, помрёт…

— Да что у тебя?.. Эй, бабка, слышь: что случилось? — обратился к ней жандарм, протискиваясь сквозь толпу.

— Билет, родненький, билет…

— Что — билет? Утеряла?

— То-то и есть, милые мои… утеряла…

— Да ты поищи хорошенько!

— Искала уж, касатик, сбилась искамши… да нетути!.. Что мне теперь делать-то?

— Без билета нельзя! Оставаться придётся!..

— Ну ничего, в городе веселее, — пошутил кто-то, но сейчас же, поняв всю непристойность шутки, юркнул в толпу и скрылся.

— Ох, горе моё лютое!.. Умрёт он теперь… умрёт! — рыдала баба.

— Кто умрёт?

— Сыночек мой, сыночек, болезные!

— Отчего умрёт?.. Болен он разве?

— Дюжо болен… дюжо… Грамотку получила… Без надеждушки болен… И деньги-то я у чужих людей заняла, хоть последние-то минуточки захвачу, думала… увижу его… А што теперь мне?

И она в отчаянии упала лицом на холодные камни.

— Экая беда! — пожалел кто-то из толпы.

— Внимательней надо быть… не так, — посоветовал солидный господин в енотовой шубе.

— Жалко бедную, жалко! — покачал головою купец и отошёл в сторону.

— А ты далеко едешь, бабушка? — вдруг обратился к лежавшей старухе Петя.

Он все время стоял сосредоточенный и несколько бледный. Его, видимо, взволновало горе старухи. Он и теперь говорил не совсем твёрдым голосом.

— Далеко ли едешь? — повторил он снова, толкнув старуху, которая ничего не ответила на его первый вопрос.

— До Н-ой станции, кормилец! — произнесла она, не подымая головы. — До Н-ой станции…

— Далеко это?

— Далеко, далеко…

Рыдания душили её.

Петя посмотрел на меня.

Я понял его взгляд. Мне и самому было глубоко жаль бедной старухи…

— Далеко ведь, — шёпотом произнес я, желая помочь и в то же время чувствуя, что дать надо много, пожалуй… всё!

— Сын умирает… Неужели, Саша, тебе… — Я вспыхнул и поспешно ответил приятелю:

— Нисколько…

— Тогда…

Он не кончил и бросился бегом в вокзал. Я последовал за ним и догнал его уже у кассы. Все

деньги были у него.

— Что стоит до Н-ой станции? — дрожащим голосом промолвил Петя, подходя к оконцу кассы.

— Которого класса?

— Третьего!

— Пять рублей сорок!

Петя молчал с секунду, видимо, ещё колеблясь.

— Дайте! — произнёс он громче обыкновенного и подал кассиру две трёхрублевые бумажки — всё наше богатство!

Через минуту мы были уже около старухи, которую подымал жандарм.

— Бабушка, бабушка, возьми вот! — сказал Петя, подавая ей билет.

— Касатик ненаглядный! Да где же ты нашёл? — воскликнула старуха.

— У дверей нашли!..

— Милые вы мои!.. Дай вам Бог…

Она быстро упала на колени и поклонилась нам в землю.

Петя побежал от неё с такой поспешностью, будто он спасался от погони.

Я бросился за ним.

Когда мы уже сбегали с крылечка вокзала, раздался второй звонок.

Едва переводя дух, уставшие, остановились мы

посреди улицы и молча взглянули друг на друга.

Я не знаю, что в эту минуту чувствовал Петя, но мне было как-то особенно хорошо, так хорошо, как никогда ещё я не чувствовал себя… именно в эту минуту…

— Домой? — спросил я тихо Петю.

— Куда же? — отвечал он вопросом. И мы пошли домой…

Почти всю дорогу мы молчали. Только подходя к дому, Петя обратился ко мне:

— Тебе не жаль?

Я ничего не отвечал.

— Нельзя было, Саша… ведь сын умирает, а мы… Как она рыдала!.. Обойдёмся и без ёлки один год! Я рад… ей-Богу рад!

Я и сам был рад. Мне было жалко, что мы остались без ёлки, но в то же время чувствовалось, что дело сделано хорошее, что иначе и не следовало… Я сердцем сознавал, что, поступи иначе, может быть, воспоминание о рыдающей старухе отравило бы всё наше веселье…

Мы остались без ёлки — и всё-таки нам было весело…

При виде нарядной ёлки у купца мне стало невольно грустно от мысли, что вот и у нас могла бы быть такая же… Но только на одну минуту

смутилось моё сердце, полное счастья.

Это было то внутреннее, глубокое счастье, которое испытываешь только тогда, когда чувствуешь себя виновником чужой радости, когда сознаёшь, что хотя чуточку людского горя да убавил, что чрез тебя хотя одною слезою меньше стало в мире!.. Года пройдут, и не забудешь этих минут… Счастье, счастье!.. Есть одно только счастье, друзья мои! Наше счастье — в счастии других. Счастлив тот, кто разливает вокруг себя радость, свет: облегчает горе, осушает слёзы! И нет тяжелее муки, как сознание, что чрез тебя плачет кто-нибудь в мире. Скоро ли, долго ли, но эти слёзы отравят всю твою радость, всё твоё шумное, блестящее веселье — мнимое, ошибочное счастье жизни!

Из повести «Без ёлки». 1883

Л. А. Чарская. Ёлка через сто лет
Рождественский рассказ

I

Папа и мама плотно прикрыли двери столовой, предупредив Марсика, что в гостиной угар, и запретив мальчику входить туда. Но восьмилетний Марсик отлично знает, что никакого угара там нет. Вообще маленький Марсик знает, что с того самого года, как он начинает помнить себя, всегда каждое 24-е декабря, то есть в самый вечер Рождественского сочельника, в гостиной постоянно неблагополучно: то там случается угар, как и в нынешнем году, то открыта форточка, то папа ложится после обеда отдыхать не у себя в кабинете, как это во все остальные дни года, а непременно там; то к маме приходит портниха, и она примеряет там же очень обстоятельно и долго новое платье перед большим трюмо. В первые годы Марсик очень легко поддавался на эту удочку: он верил и угару, и форточке, и папину отдыху, и портнихе.

Но за последние два сочельника мальчик настолько вырос, что понял, зачем его дорогие мама и папа прибегали к этой невинной хитрости. Ларчик открывался просто: в гостиной украшали ёлку. Ну да, очаровательную зелёную ёлочку,

которую каждый год устраивали сюрпризом для Марсика.

II

Сидеть и ждать в столовой становилось скучно. В большом камине догорали, вспыхивая алыми искорками, дрова. Ровно, светло и спокойно светила электрическая лампа. Таинственно белели запертые в гостиную двери. А из-за двери другой, соседней со столовой, комнаты доносился мерный голос «большого» Володи. Володю недаром все называли большим. Он был вдвое старше Марсика и в будущем году должен был кончить реальное училище. Сейчас в комнате Володи сидел Алеша Нетрудный, его закадычный товарищ, которому Володя и читал заданное им, реалистам, на праздники письменное сочинение. «Большой» Володя был очень прилежен и трудолюбив, как и подобает быть взрослому юноше; он успел уже до праздника написать сочинение и теперь читал его вслух Нетрудному.

Вначале Марсик очень мало обращал внимания на Володино чтение. Все его мысли заняты были ёлкой.

Радостно замирало сердечко предчувствием того светлого и приятного, что должно было случиться сегодня же, скоро и очень скоро: вот

пройдёт ещё полчаса, может быть, час времени, и распахнутся двери в гостиную. Появится на пороге их сияющая мама и протянет руки к Марсику и, обхватив его за плечи, поведет в гостиную; а там «она» уже ждёт его! «Она» — ветвистая, зелёная, яркая красавица, сулящая столько радости и утех Марсикину сердечку. Потом приедут бабушка с дедушкой и привезут с собой их приёмную внучку-воспитанницу, с которой так любит играть Марсик. И ещё привезут обещанный поезд, маленький игрушечный поезд, о котором он так мечтал. А под ёлкой будет его ждать игрушечная же подводная лодка от мамы и папы.

Вот-то прелесть! Уж скорее бы проходило время. Скорее бы прекратились эти несносные минуты ожидания. Вскарабкаться, что ли, на подоконник и посмотреть на улицу, не едут ли бабушка и дедушка? И Марсик, пыхтя и кряхтя, лезет на высокий выступ окна, чтобы как-нибудь скоротать время.

III

А за стеной всё ещё слышится чёткий и громкий голос «большого» Володи, который продолжает читать вслух.

«Люди делают всё новые и новые изобретения. Они научились уже летать по воздуху на особых машинах, называемых аэропланами и дирижаблями. И весьма возможно, что через сто лет люди будут летать по воздуху в особых поездах, точно так же, как ездят теперь по железным дорогам. Кроме того, люди изобретают всё новые и новые машины, так что, вероятно, через сто лет всё то, что теперь делается руками, будут делать машины, и даже прислугу в доме будут заменять особые машины…»

Марсик долго прислушивался к чтению Володи, в его мыслях то и дело теперь носились обрывки прочитанного братом сочинения. А в окна сверху смотрели золотые звёзды и холодное декабрьское небо. Внизу же на улице стояла весёлая предпраздничная суматоха. Люди шныряли с покупками и ёлочками подмышкой. Марсику хорошо были видны фигуры прохожих, казавшиеся крохотными благодаря расстоянию, отделяюще-

му их от окна пятого этажа, у которого приютился скорчившийся в клубок мальчик.

IV

Вдруг тёмное пространство за окном озарилось светом. Марсик даже вздрогнул от неожиданности и зажмурил глаза, Когда он их раскрыл снова, то остолбенел от удивления. За окном прямо против него остановился небольшой воздушный корабль. На носу корабля сидели бабушка, дедушка и Таша. И у дедушки, и бабушки, и у Таши в руках были свёртки и пакеты.

— Здравствуй, здравствуй, Марсик! — весело кричали они ему. — Мы прилетели к тебе на ёлку. Надеемся, не опоздали, и ёлочку ещё не зажгли?

Марсик очень обрадовался гостям, доставленным сюда таким необычайным способом. Два электрических фонаря, горевшие на передней части воздушного корабля, ярко освещали их лица. Марсику очень хотелось обнять поскорее дорогих гостей, но он не знал, как это сделать. Между ними и им находилось плотно закрытое на зиму окно.

Но тут поднялся дедушка и протянул к окошку свою палку, на конце которой был вделан крошечный сверкающий шарик.

Дедушка провёл этим шариком по ребру рамы,

и окошко распахнулось настежь, а с воздушного корабля перекинулся мостик к подоконнику, и по этому мостику бабушка, дедушка и Таша, со свёртками и пакетами в руках, вошли в комнату. Окно тут же само собой захлопнулось за ними.

— Ну, веди нас к ёлке, где твоя ёлка? — целуя Марсика, говорили они.

В тот же миг распахнулись двери гостиной, и Марсик вскрикнул от восторга и неожиданности. Посреди комнаты стояла чудесная ёлка. На ней были навешаны игрушки, сласти, а на каждой веточке ярко сверкал крошечный электрический фонарик, немногим больше горошин.

Вся ёлка светилась как солнце южных стран. В это время заиграл большой ящик в углу. Но был не граммофон, но другой какой-нибудь музыкальный инструмент. Казалось, что чудесный хор ангельских голосов поёт песнь Вифлеемской ночи, в которую родился Спаситель.

«Слава в Вышних Богу и в человецех благоволение», — пели ангельски-прекрасные голоса, наполняя своими дивными звуками комнату.

Скоро, однако, замолкли голоса, замолкла музыка. Папа подошёл к ёлке и нажал какую-то скрытую в густой зелени пружину. И вмиг все игрушки, привешенные к ветвям дерева, зашеве-

лились, как бы ожили: картонная собачка стала прыгать и лаять; шерстяной медведь урчать и сосать лапу. Хорошенькая куколка раскланивалась, поводила глазками и пискливым голоском желала всем добрых праздников. А рядом паяц Арлекин и Коломбина танцевали какой-то замысловатый танец, напевая себе сами вполголоса звучную песенку. Эскадрон алюминиевых гусар производил ученье на игрушечных лошадках, которые носились взад и вперёд по зелёной ветке ёлки. А маленький негр плясал танец, прищёлкивая языком и пальцами. Тут же, в небольшом бассейне нырнула вглубь подводная лодка, и крошки-пушки стреляли в деревянную крепость, которую осаждала рота солдат.

V

У Марсика буквально разбежались глаза при виде всех этих прелестных, самодвижущихся игрушек. Но вот бабушка и дедушка развернули перед ним самый большой пакет, и перед Марсиком очутился воздушный поезд, с крошками-вагончиками, с настоящим локомотивом, с малюсенькой поездной прислугой. Поезд, благодаря каким-то удивительным приспособлениям, держался в воздухе, и, когда дедушка нажал какую-то пружинку, он стал быстро-быстро носиться над головами присутствующих, описывая в воздухе один круг за другим.

Кукольный машинист управлял локомотивом, кукла-кондуктор подавала свистки, куклы-пассажиры высовывались из окон, спрашивали, скоро ли станция, ели малюсенькие бутерброды и яблоки, пили из крохотных бутылок сельтерскую воду и лимонад и говорили тоненькими голосами о разных новостях. Потом появилась из другого пакета кукла, похожая как две капли воды на самого Марсика, и стала декламировать вслух басню Крылова «Ворона и Лисица».

Из третьего пакета достали военную форму

как раз на фигуру Марсика, причём каска сама стреляла, как пушка, винтовка сама вскидывалась на плечо и производила выстрел, а длинная сабля побрякивала, болтаясь со звоном то сзади, то спереди.

Не успел Марсик достаточно наохаться и наахаться при виде всех этих подарков, как в гостиную вкатился без всякой посторонней помощи стол-автомат.

На столе стояли всевозможные кушанья.

Были тут и любимая Марсикина кулебяка, и заливное, и рябчики, и мороженое, и сладкое в виде конфет и фруктов.

— Ну, Марсик, чего тебе хотелось бы прежде скушать? — ласково спросила его бабушка, в то время как невидимая музыка заиграла что-то очень мелодичное и красивое.

— Рябчика! — быстро произнес Марсик.

Тогда бабушка тронула пальцем какую-то пуговку внизу блюда, и в тот же миг жареный рябчик отделился от блюда и перелетел на тарелку Марсика.

Нож и вилка опять по неуловимому движению кого-то из старших так же без посторонней помощи прыгнули на тарелку и стали резать на куски вкусное жаркое.

То же самое произошло с кулебякой и с заливным. Утолив голод, Марсик пожелал винограда и апельсинов, красиво разложенных в вазе. Опять была тронута какая-то кнопка, и сам собой апельсин, автоматически очищенный от кожи, прыгнул на Марсикину тарелку. Тем же способом запрыгали и налитые золотистым соком ягоды винограда. Марсику оставалось только открывать пошире рот и ловить их на лету.

— Ну что, — нравится тебе такой ужин? А ёлка понравилась? — с улыбкой спрашивали Марсика его родные.

— Папа! Бабушка! Мамочка! Дедушка! Что же это значит? — ответил им весело и радостно изумлённый взволнованный Марсик.

— А то значит, мой милый, что это ёлка и ужин будущих времен. Такие чудесные ёлки увидят, может быть, твои внуки, тогда, когда люди изобретут такие приборы и машины, о которых теперь и мечтать нельзя, — отвечала ему мама и крепко поцеловала своего мальчика. На самом деле не одна только мама поцеловала крепко, крепко заснувшего и свернувшегося в клубочек на подоконнике Марсика. Целый град поцелуев сыпался на него:

— Проснись! Проснись, Марсик! С праздни-

ком Рождества тебя поздравляем! — слышались вокруг него добрые, ласковые голоса бабушки, дедушки, мамы, папы и Таши. И они протягивали мальчику привезённые с собой подарки. А в открытую дверь уже сияла из гостиной всеми своими многочисленными огнями ёлка. Марсик широко раскрыл заспанные глазёнки.

«Так то был сон?» — хотел он спросить, но сразу удержался при виде окружавших его сияющих по-праздничному родных ему лиц.

1915

А. Аверченко. Продувной мальчишка

Первый разговор о ёлке между Володькой и мамой возник дня за три до Рождества, и возник не преднамеренно, а скорее случайно, по дурацкому звуковому совпадению. Намазывая за вечерним чаем кусок хлеба маслом, мама откусила кусочек и поморщилась.

— Масло-то, — проворчала она, — совсем ёлкое…

— А у меня ёлка будет? — осведомился Володька, с шумом схлёбывая с ложки чай.

— Ещё что выдумал! Не будет у тебя ёлки. Не до жиру — быть бы живу. Сама без перчаток хожу.

— Ловко, — сказал Володька. — У других детей сколько угодно ёлков, а у меня будто я и не человек.

— Попробуй сам устроить — тогда и увидишь.

— Ну и устрою. Большая важность. Ещё почище твоей будет. Где мой картуз?

— Опять на улицу?! И что это за ребёнок такой! Скоро совсем уличным мальчишкой сделаешься!.. Был бы жив отец, он бы тебе…

Но так и не узнал Володька, что бы сделал с ним отец: мать ещё только добиралась до второй половины фразы, а он уже гигантскими прыжками спускался по лестнице, меняя на некоторых поворотах способ передвижения: съезжая на перилах верхом.

На улице Володька сразу принял важный, серьёзный вид, как и полагалось владельцу многотысячного сокровища.

Дело в том, что в кармане Володьки лежал огромный бриллиант, найденный им вчера на улице, — большой сверкающий камень, величиной с лесной орех.

На этот бриллиант Володька возлагал очень большие надежды: не только ёлка, а пожалуй, и мать можно обеспечить.

— Интересно бы знать, сколько в нём карат? — думал Володька, солидно натянув огромный картуз на самый носишко и прошмыгивая между ногами прохожих.

Вообще, нужно сказать, голова Володьки — самый прихотливый склад обрывков разных сведений, знаний, наблюдений, фраз и изречений.

В некоторых отношениях он грязно невежествен: например, откуда-то подцепил сведение,

что бриллианты взвешиваются на караты, и в то же время совершенно не знает, какой губернии их город, сколько будет, если умножить 32 на 18, и почему от электрической лампочки нельзя закурить папироски.

Практическая же его мудрость вся целиком заключалась в трёх поговорках, вставляемых им всюду, сообразно обстоятельствам: «Бедному жениться — ночь коротка», «Была не была — повидаться надо» и «Не до жиру — быть бы живу».

Последняя поговорка была, конечно, заимствована у матери, а первые две — чёрт его знает у кого. Войдя в ювелирный магазин, Володька засунул руку в карман и спросил:

— Бриллианты покупаете?

— Ну, и покупаем, а что?

— Свесьте-ка, сколько каратов в этой штучке?

— Да это простое стекло, — усмехнувшись, сказал ювелир.

— Все вы так говорите, — солидно возразил Володя.

— Ну вот, поразговаривай тут ещё. Проваливай! — Многокаратный бриллиант весьма непочтительно полетел на пол.

— Эх, — кряхтя, нагнулся Володя за развенчанным камнем. — Бедному жениться — ночь

коротка. Сволочи! Будто не могли потерять настоящий бриллиант. Хи! Ловко, нечего сказать. Ну что ж... Не до жиру — быть бы живу. Пойду, наймусь в театр.

Эта мысль, надо признаться, была уже давно лелеяна Володькой. Слыхивал он кое от кого, что иногда в театрах для игры требуются мальчики, но как приняться за эту штуку — он совершенно не знал.

Однако не в характере Володьки было раздумывать: дойдя до театра, он одну секунду запнулся о порог, потом смело шагнул вперёд и для собственного оживления и бодрости прошептал себе под нос: «Ну, была не была — повидаться надо».

Подошёл к человеку, отрывавшему билеты, и, задрав голову, спросил деловито:

— Вам мальчики тут нужны, чтоб играть?

— Пошёл, пошёл. Не болтайся тут.

Подождав, пока билетёр отвернулся, Володька протиснулся между входящей публикой и сразу очутился перед заветной дверью, за которой гремела музыка.

— Ваш билет, молодой человек, — остановила его билетёрша.

— Слушайте, — сказал Володька, — тут у вас в театре сидит один господин с чёрной бородой. У

него дома случилось несчастье — жена умерла. Меня прислали за ним. Позовите-ка его!

— Ну, стану я там твою чёрную бороду искать — иди сам и ищи!

Володька, заложив руки в карманы, победоносно вступил в театр и сейчас же, высмотрев свободную ложу, уселся в ней, устремив на сцену свой критический взор.

Сзади кто-то похлопал по плечу. Оглянулся Володька: офицер с дамой.

— Эта ложа занята, — холодно заметил Володька.

— Кем?

— Мною. Рази не видите?

Дама рассмеялась, офицер направился было к капельдинеру, но дама остановила его:

— Пусть посидит с нами, хорошо? Он такой маленький и такой важный. Хочешь с нами сидеть?

— Сидите уж, — разрешил Володька. — Это что у вас? Программка? А ну, дайте…

Так сидели трое до конца первой серии.

— Уже конец? — грустно удивился Володька, когда занавес опустился. — Бедному жениться — ночь коротка. Эта программка вам уже не нужна?

— Не нужна. Можешь взять её на память о такой приятной встрече.

Володька деловито осведомился:

— Почем платили?

— Пять рублей.

— Продам на вторую серию, — подумал Володька и, подцепив по пути из соседней ложи ещё одну брошенную программку, бодро отправился с этим товаром к главному выходу. Когда он вернулся домой, голодный, но довольный, — у него в кармане вместо фальшивого бриллианта были две настоящие пятирублёвки.

На другое утро Володька, зажав в кулак свой оборотный капитал, долго бродил по улицам, присматриваясь к деловой жизни города и прикидывая глазом — во что бы лучше вложить свои денежки.

А когда он стоял у огромного зеркального окна кафе — его осенило.

«Была не была — повидаться надо», — подстегнул он сам себя, нахально входя в кафе.

— Что тебе, мальчик? — спросила продавщица.

— Скажите, пожалуйста, тут не приходила дама с серым мехом и с золотой сумочкой?

— Нет, не было.

— Ага. Ну, значит, ещё не пришла. Я подожду

её. — И уселся за столик.

«Главное, — подумал он, — втереться сюда. Попробуй-ка, выгони потом: я такой рёв подыму!..» Он притаился в тёмном утолку и стал выжидать, шныряя чёрными глазёнками во все стороны. Через два столика от него старик дочитал газету, сложил её и принялся за кофе.

— Господин, — шепнул Володька, подойдя к нему. — Сколько заплатили за газету?

— Пять рублей.

— Продайте за два. Всё равно ведь прочитали.

— А зачем она тебе?

— Продам. Заработаю.

— О-о… Да ты, брат, деляга. Ну, на. Вот тебе трёшница сдачи. Хочешь сдобного хлеба кусочек?

— Я не нищий, — с достоинством возразил Володька. — Только вот на ёлку заработаю — и шабаш. Не до жиру — быть бы живу.

Через полчаса у Володьки было пять газетных листов, немного измятых, но вполне приличных на вид. Дама с серым мехом и с золотой сумочкой так и не пришла. Есть некоторые основания думать, что существовала она только в разгорячённом Володькином воображении.

Прочитав с превеликим трудом совершенно ему непонятный заголовок: «Новая позиция

Ллойд Джорджа», Володька, как безумный, помчался по улице, размахивая своими газетами и вопя во всю мочь:

— Интер-ресные новости! Новая позиция Ллойд Джорджа — цена пять рублей! Новая позиция за пять рублей!!

А перед обедом, после ряда газетных операций, его можно было видеть идущим с маленькой коробочкой конфет и сосредоточенным выражением лица, еле видимого из-под огромной фуражки. На скамейке сидел праздный господин, лениво покуривая папиросу.

— Господин, — подошёл к нему Володька. — Можно вас что-то спросить?..

— Спрашивай, отроче. Валяй!

— Если полфунта конфет — 27 штук стоят 55 рублей, так сколько стоит штука?

— Точно, брат, трудно сказать, но около двух рублей штука. А что?

— Значит, по пяти рублей выгодно продавать? Ловко! Может, купите?

— Я куплю пару с тем, чтобы ты сам их и съел.

— Нет, не надо, я не нищий. Я только торгую… Да купите! Может, знакомому мальчику отдадите.

— Эх-ма, уговорил! Ну, давай на керенку, что

ли.

Володькина мать пришла со своей белошвейной работы поздно вечером…

На столе, за которым, положив голову на руки, сладко спал Володька, стояла крохотная ёлочка, украшенная парой яблок, одной свечечкой и тремя-четырьмя картонажами, и всё это имело прежалкий вид. У основания ёлки были разложены подарки: чтобы не было сомнения, что кому предназначено, около цветных карандашей была положена бумажка с корявой надписью: «Дли Валоди».

А около пары тёплых перчаток другая бумажка с ещё более корявым предназначением: «Дли мами»…

Крепко спал продувной мальчишка, и неизвестно где, в каких сферах, витала его хитрая купеческая душонка…

1922

Г. Т. Северцов-Полилов. В Рождественскую ночь
Сон цветочницы

Долго сидела Мариулла в мастерской в Рождественский сочельник. Необходимо было окончить громадную гирлянду цветов для одной богатой дамы, непременно желавшей убрать ею завтра своё праздничное платье. Мастерицы и девочки, под руководством Мариуллы, свивали, клеили, гофрили искусственные цветы, и заказанная гирлянда быстро росла. Часам к двенадцати она была готова, тщательно осмотрена самою цветочницею и уложена в картонку, Мариулла взяла её с собою, чтобы утром отнести заказчице. Всех учениц на Рождество хозяйка распустила по домам.

Чудной ночью вышли мастерицы из душной мастерской на улицу; лёгкие снежинки падали на землю, блистая при свете газа. Несмотря на то что становилось поздно, на улице было оживлённо — народ гулял толпами. Выяснившиеся звёздочки ярко горели на тёмном небе. Мариулла, в лёгкой кофточке, бойко бежала домой,

передёргивая плечами от лёгкого мороза. Но вот она и дома. Быстро взбежав в пятый этаж, где помещалась её комнатка, она бережно поставила картонку на стол и, раздевшись, стала приводить свою каморку в праздничный вид. Не первый год приходилось ей проводить Рождество вдали от родины… Приехала она в Петербург три года тому назад, из южной Франции, по приглашению её теперешней хозяйки, для заведывания большою мастерской искусственных цветов: хозяйка сама ничего в этом деле не понимала. Заработком своим Мариулла была довольна: ей хватало и на себя, да и на старушку-мать, которой она могла помогать кое-чем. И всё-таки ей припоминалась теперь её далекая родина, оставшиеся там мать и сестры, красивый кузен Жюстэн, кончающий военную службу, чудный климат, тёплое, приветливое солнышко юга, — и она невольно сравнивала с ним сырую осень и холодную зиму Петербурга.

Немного погодя она легла в постель и заснула, думая о далёких милых.

Вдруг её точно кто толкнул; она открыла глаза и увидела себя в другой обстановке. Комнаты больше не было; Мариулла лежала на траве, среди прелестного сада. Луна мягко светила, обливая

своим серебристым блеском клумбы с цветами, широкие дорожки, усыпанные красным песком, и мелодично журчащие фонтаны. Воздух был напоен благоуханиями цветов; тёплая, роскошная южная ночь царила вокруг неё. Она узнала свою родину, свой чудный Прованс.

Сначала её поразило столь быстрое переселение сюда с берегов Невы, но потом ей вдруг почему-то стало это приятно.

В саду, кроме неё, никого не было. Она лежала молча, кругом стояла величественная тишина.

Вдруг на небе появилась необыкновенно яркая звезда, и Мариулле послышалось, что кто-то около самого её уха, голосом, похожим на звуки серебряного колокольчика, произнёс:

— Родился младенец Христос, пора нам справлять эту великую ночь!

Она оглянулась и прислушалась: голос шёл из соседней с нею клумбы. Ей показалось, что это произнесла красавица Бэль-де-Нюи[1].

— Да, пора, — послышались со всех сторон голоса, и цветы из всех клумб спешили на лужайку, где лежала Мариулла.

Они не замечали её, топтали её своими тонень-

---

[1] Примечания: 1
Мирабилис, ночецвет.

кими ножками-стебельками.

Кого, кого тут только не было!..

Красавец Нарцисс, под руку с белой Лилией, изящно выступал вперёд; скромная Резеда протягивала, здороваясь, свои лепестки; Левкои весело болтали с ярко-красными Настурциями; пятилистная Кадеция хвастала шелковистостью своих лепестков, слушая комплименты от Душистого Горошка; розовый Портулак шептал что-то на ухо Гвоздике.

Все были веселы, довольны, все хотели веселиться в эту радостную для всего живущего на земле и небе ночь.

— Написали ли вы гимн в честь Младенца Христа? — обратилась Бэль-де-Нюи к Колокольчику. — Я надеюсь, что мне вы уделили в нём место? — кокетливо на него посматривая, продолжала она.

— Разумеется, кто же, кроме вас, может исполнять его! — галантно отвечал Колокольчик.

— А меня, надеюсь, тоже не забыли? — прохрипел готовый лопнуть от чрезмерной полноты Пион. — Я думаю, что мой бас вам может пригодиться.

— Высокому сопрано и тенору вы написали в гимне партию? — допытывалась голубенькая

Незабудка, проталкиваясь вместе с Ландышем к композитору.

— А мне дадите партию? А мне? А мне? — слышались голоса из толпы цветов.

— Фу! Какой невежа этот Колокольчик! Он просто зазнался! Не может даже ответить, — прошептала статная Иномея.

— И не говорите! Я его прошу, прошу, а он не обращает на меня никакого внимания, точно я какая-нибудь Фиалка, а не Никтериния, благоухающая только ночью! — гордо произнесла последняя, пахнув своим чудным ароматом.

— Ну и выбрали композитора! — громко сказала длинноногая Тубероза. — Поручили бы составить гимн Тюльпану, вот он бы составил. А то — Колокольчику!.. — И Тубероза фыркнула.

— Однако времени терять нечего! Пора начинать! — скомандовал жёлтый Лакфиоль, игравший роль распорядителя. — Эй, вы! Кто поёт сопрано первое? Становитесь рядом.

Вышли Незабудки, Ромашки, Фиалки и стали рядами.

— Вторые сопрано и альты! — командовал Лакфиоль.

Резеда, Кадеция, Анютины Глазки и Маргаритки пробрались сквозь толпу и стали тут же.

— Тенора! Эй, где вы, тенора? — кричал Лакфиоль, тщетно их отыскивая. — Ну, так я и знал! — воскликнул он, поймав Душистый Горошек, который ухаживал за Бэль-де-Нюи. — Только знают, что куры строить!..

С трудом удалось разыскать теноров и водворить их на место.

Душистый Горошек, Ландыши, Левкои, Лупинус и Портулак, хотя и выражали своё негодование, что их оторвали от их милых спутниц, но всё-таки стали на места.

Нарцисс, исполнявший соло, ни с кем теперь не любезничал: он ожидал Розу — царицу цветов, рассчитывая, в своём самомнении, покорить её сердце.

— Басы! — низким голосом произнёс Лакфиоль. И, неуклюже ступая, потянулись краснорожие Пионы, цветные Георгины, белый Табак. Тюльпан стал тут же.

Туберoза хотела присоединиться к басам, но суровый Лакфиоль отогнал голенастую бесстыдницу прочь, говоря:

— Здесь тебе не место! Ты ведь не бас! У тебя никакого голоса нет; стань там, с прочими, в сторонке и слушай!

Пристыженная Тубероза удалилась.

— Ну, теперь всё готово, я иду докладывать её величеству королеве. Ах, да! Беги скорее, — послал он Василька, — разбуди Бэль-де-Жур[2] и Маки, что они спят! Пусть хотя сегодня, в такую ночь пободрствуют! Ну, живо! А ты, Колокольчик, раздай ноты, приготовьтесь, и как только королева прибудет, так и начинайте! — окончил он, уходя за Розой-королевой.

Немного погодя Роза появилась во всём своём величии. Пышно распустившиеся лепестки свешивались, как мантия, по сторонам; весь костюм её был великолепен; золотая корона сияла при лунном свете на головке красавицы-королевы. Гордо выступая за Лакфиолем, окружённая толпою фрейлин, придворных, состоявших из чайных, белых, ярко-красных, пунцовых и других оттенков Роз, она подошла к трону, нарочно для неё устроенному на плечах могучего Ревеня. Лакфиоль дал знак, и гимн раздался.

Миллионы тоненьких серебристых голосков пели; их нежные голоса летели к небу. Каждое из Божиих творений возносило хвалу Творцу, так дивно их создавшему и одевшему одних в такие роскошные одежды и наделившему других таким

---

[2] Примечания: 2
Дневная красавица, вьюнок трёхцветный.

чудным запахом.

Месяц всё ниже и ниже опускался, не переставая ярко освещать эту святую ночь. Мариулла чувствовала, что она сама цветок и, вместе с другими, поёт гимн Христу-Младенцу.

Вдруг из месяца вышел сам Младенец-Христос. Он стал спускаться по лунным лучам к возносящим Ему хвалу цветам и…

Мариулла проснулась. Луч северного зимнего солнца бил ей прямо в глаза. Она взглянула на часы: было девять утра.

В дверь кто-то постучался. Она быстро оделась и отворила.

— Госпоже Мариулле Боншанс! — подавая письмо, сказал почтальон. — С праздником, барышня, — прибавил он.

Мариулла дала ему серебряную монету; он ушёл. Она начала читать; письмо было от матери; старушка извещала, что скоро думает приехать навестить дочь. Хорошее расположение духа овладело Мариуллой.

«А цветы-то надобно снести», — припомнилось вдруг девушке, и она ещё раз открыла картонку и посмотрела на все эти фиалки, розы, маки, иномеи, так недавно оживившиеся во время её сна; она вздохнула, уложила опять их в коробку и понесла заказчице, перебирая в уме все подробности своего сновидения.

1895

Н. А. Лухманова. Чудо Рождественской ночи

I

Барон Нико Бругин спускался с лестницы, застегивая последнюю пуговку изящной перчатки и бормоча своими румяными губами припев модной, кафешантанной пошлости, слышанной им на одном великосветском рауте.

Бругин ехал на веселую ёлку и к «милой женщине», которая с такой грацией, с таким изящным цинизмом умела тратить чужие деньги, что он и другие друзья его наперерыв готовы были открыть перед нею свои бумажники, чтобы только видеть, как розовые пальчики вытаскивали оттуда ассигнации, как смеялись при этом влажные пунцовые губки, как, вместо слов благодарности, взмахивала и опускалась тёмная бахрома ресниц, пронося тень над бездонно-чёрными глазами.

«Да, есть женщины!» — мысленно воскликнул барон и, дёрнув правым плечом, дал знак лакею накинуть на себя меховую шинель. В эту самую минуту по лестнице послышались тяжёлые ровные шаги. Бругин поморщился; грузное тело высокого мужчины вынырнуло из-за поворота ступенек раньше, чем шинель была надета, и перед ним стоял Яков Степанович Быков, знаме-

нитый детский врач.

— Здравствуйте, доктор, очень рад, что мы с вами встретились; я, по правде сказать, не знал, что вы заезжаете к Мусе и вечером. Ну что, как наша больная?

Доктор опустился с последних ступеней, приподнял очки и своими зоркими глазами осмотрел с ног до головы изящного отца своей маленькой пациентки и отчеканил в упор:

— Очень плоха.

Бругин как-то глупо дёрнул рукою, державшей бобровую шапку.

— Очень плоха, очень плоха! — И тут же, подумав, что доктора всегда преувеличивают, сказал: — Ну, доктор, я вполне полагаюсь на вас, — и крикнул швейцару: — Подавай!

II

Во втором же этаже, но далеко от детской, где кашляла, задыхаясь, маленькая пятилетняя Муся, в роскошном будуаре, обтянутом старинной шёлковой материей, где по вялому розовому фону ползли путаные золотые нити, перед громадным зеркалом без рамы, захваченным только по четырем углам четырьмя золочёными драконами, стояла женщина, маленькая, белокурая, вся белая, нежная, как пуховка, вынутая из коробочки с пудрой. Зою Владимировну Бругину, рассмотрев в подробности её неправильное лицо, вздёрнутый носик, слишком пухлые губки, нельзя было назвать даже хорошенькой, но в общем все её пышное, нежное тело, заключённое в роскошную рамку дорогого туалета, казалось прелестным и, главное, безукоризненно-светски изящным. Она тоже ехала к одной из своих подруг, на ёлку для взрослых, с сюрпризами, подарками, без танцев, но с флиртом, под чарующую музыку приглашенных артистов. Эта Софи Тухубьева умела так хорошо устраивать такие soiré intime[3]

---

[3] Примечания: 3
Интимные вечера (*фр.*).

«для подруг». У неё квартира состояла из coin[4] и recoin[5], в которых за разными ширмами, экранами, трельяжами, японскими веерами стояли диванчики, мягкие, круглые, обхватывавшие, как объятиями, приютившуюся на них парочку, и притом на этих вечерах всегда была музыка какая-то удивительно нежная, как под сурдинку; её можно было не слушать, но под неё нельзя было не позволить говорить больше, чем надо, не отвечать нежнее, чем бы хотелось.

«Да, есть ещё дома, где умеют веселиться!» — мысленно воскликнула Зоя Владимировна и, нагнув голову, подставила спину и подхватила волнистым движением плеч длинный соболий плащ, накинутый на неё горничной. Спускаясь с лестницы, она два раза замедлила шаги; в голове её мелькнула мысль: «Зайти к больной Мусе?», но разум подсказал ей, что это глупо: у ребёнка коклюш, и ведь девочке лучше оттого не станет, что она на минуту войдёт к ней, а между тем она рискует унести в складках своего газа этот отвратительный лекарственный запах, который всё-таки царит теперь в детской; наконец,

---

[4] Примечания: 4
Угол, уголок (*фр.*).

[5] Примечания: 5
Закоулок (*фр.*).

это ужасно сентиментально — это материнское благословение перед отъездом на soire intime. У ребёнка есть бонна, доктор, игрушки — словом, всё, что надо. Рослый, красивый лакей Пётр крикнул швейцару: «Подавай!»

Сани барона взяли от крыльца налево. Крошечная каретка баронессы понеслась направо, точно судьбою было предназначено этим супругам идти всегда разными дорогами.

III

Далеко от будуара с повялыми розовыми обоями, там, за поворотом длинного коридора, в квартире Бругиных была отведена под nursery[6] большая четырёхугольная комната. Светлый кретон с голубыми птицами, поющими на голубых цветах, обтягивал её стены, пол был устлан войлоком, прикрытым американской клеёнкой, всюду стояла гнутая венская мебель, и целый угол был заставлен громадным, низеньким, как скамейка, столом, на котором раскинулась кукольная жизнь: тут были миниатюрные будуары, гостиные, и кухня, и экипажи. Тут же сидели и лежали обитательницы этого детского рая, голубоглазые, румяные baby[7] и великолепные, как принцессы, куклы на пружинах. И все это было разложено, расставлено в мёртвенном порядке. Давно уже крошечные ручки хозяйки не трогали здесь ничего, давно милый картавый голосок не воодушевлял всё это безмолвное царство. В

---

[6] Примечания: 6
Детская (*англ.*).

[7] Примечания: 7
Дитя, малыш (*англ.*).

белой кроватке за белым кружевным пологом лежало исхудалое тельце Мусеньки, восковые ручки скрестились на впалой груди, батистовая рубашечка сквозными складками обрисовывала худенькие обострившиеся плечики. Золотистая бахрома ресниц то поднималась, то снова, как усталая, падала на больные, печальные глазки. Уже четыре недели, как девочка лежит, и каждый день видит над собою широкое лицо доктора и со скорбной покорностью позволяет ему поднимать себя, перевёртывать, выслушивать; с молчаливым страхом следит она и за градусником, который ей вкладывают под мышку, и за противными бутылочками, у которых, как одно крыло изуродованной стрекозы, треплется белая длинная полоска рецепта; она, вздыхая, глотает лекарство и только беспомощно шепчет своей бонне: «Утри», протягивая бедные бледные губки, мокрые от принятой дряни.

«В кого уродился этот ребёнок? — думает бонна, обожающая свою Мусеньку. — Что за доброе, нежное сердечко бьётся в этой узенькой детской грудке, никаких капризов, никогда никакого крика, а какой восторг, когда в детской появляется мать или отец». Барон и баронесса приходят всегда в разное время, но зато всегда оба одина-

ково торопятся. Мать, перегибаясь через решётку кровати, протягивает губы и осторожно, смеясь, целует золотые волоски. Отец не может перегнуться через решётку, он рисковал бы сломать безукоризненный, как бы фарфоровый, пластрон[8] своей рубашки, он только протягивает руку и дотрагивается до носика или подбородка Муси. Оба говорят несколько пустых ласковых слов и, видимо, не перенося печального вида больного ребенка, запаха лекарств, спешат удалиться. А между тем в эти короткие минуты визитов ребёнок перерождается, ручки, ищущие удержать отца или мать, перестают дрожать, глазки проясняются, ротик розовеет, улыбается, и снова, как прежде, лепечет ребёнок приветствие, обещает быть умной и ждать, когда снова заглянет мама или папа.

Когда Муся была здорова, она была счастливее: раз или два в день её сводили вниз. Вся завитая, раздушенная, она присутствовала при мамином туалете и изредка между пятью и семью баронесса брала её с собою кататься.

Остальное время Муся проводила с выписанной из Парижа француженкой m-lle Lucienne

---

[8] Примечания: 8

Пластрон — туго накрахмаленная нагрудная часть мужской верхней сорочки, надеваемая под открытый жилет при фраке или смокинге.

и русской бонной Нютой. Француженка любила гулять с Мусей по Невскому и гуляла до тех пор, пока Муся не получила коклюш, а сама она пару рысаков. Ребёнок слёг в свою маленькую постельку, а француженка переехала в новую роскошную квартиру. Теперь у Муси была только Нюта, которая играла с ней, утешала её, держала в объятиях во время приступов кашля и по вечерам молилась с нею коротенькой, детской молитвой, в которой упоминались имена: папы, мамы и нередко, под сурдинку, какой-нибудь сломанной куклы.

Худенькая ручка Муси высунулась из-под одеяла, неуверенным жестом прошлась по шёлковому переплёту кровати, точно девочка искала опоры, чтобы встать, и снова, обессиленная, упала; две слезинки скопились в уголках глаз и медленно потекли по исхудалому личику.

— Нюта!

— Что, моё сокровище? — Нюта живо опустила абажур у лампы, около которой работала, подошла к кроватке и раздвинула кружевной полог. — Что, девочка?

— Папа, мама уехали?

— Уехали, Муся, у папы был красный цветок в петлице, у мамы — в волосах её бриллиантовый

месяц и белое лёгкое перышко.

Муся улыбнулась, и синие глазки её засветились.

— Хорошо? — спросила она громче.

— Хорошо, Муся; я нарочно открыла дверь, чтобы из коридора видеть их. Мама, да и папа хотели войти, но я сказала, что Муся дремлет, — солгала Нюта.

— Хотели? Ах, Нюта, зачем я дремала!

Снова в детской настало молчание, девочка забылась от слабости, и бонна сидела, боясь пошевельнуться. Большие часы тикали мягко и ровно.

— Нюта! — опять послышался слабый голос девочки. — Сегодня ёлка?

— Да, у нас будет с тобой своя маленькая ёлка, она будет гореть всю ночь.

Из кроватки послышался тихий радостный смех.

IV

Барон приехал к «милой женщине» и застал там всё то же знакомое ему, как собственная физиономия, общество и услышал всё те же, не менее знакомые ему остроты и разговоры; только прежде вся эта атмосфера духов, лёгкого грациозного цинизма действовала на него ободряюще, как бокал шампанского, а теперь он бессознательно принёс с собою из дома эхо слов доктора, и что-то неосязаемое, неуловимое копошилось на дне его сердца. В зале «милой женщины» стояла громадная ёлка, убранная цветами, звездою и массою оригинальных и красивых бонбоньерок.

Гости становились все в ряд, «милая женщина» с своими подругами, с визгом и писком наивных пансионерок, махая открытыми до плеч руками, катила шары, и каждый ловил наудачу.

Барону Нико вдруг показалось, что «милая женщина» только сухо кивнула ему головой за плюшевую aumonière[9], в которой он прислал ей сегодня радужную на ёлку. Все её улыбки, все стрелы её кошачьих зеленоватых глаз бы-

---

[9] Примечания: 9
Кошель, поясная сумочка (*фр.*).

ли направлены на Жоржа Гудищева, длинного нескладного хлыща, получившего недавно громадное наследство. Жорж Гудищев лежал, растянувшись на кушетке, откинув руки и ноги с такою небрежностью, точно при полученных им богатствах нисколько не нуждался в этих «приростках». «Милая женщина» то и дело подбегала к нему, ероша ему волосы, и делала ненужные вопросы, на которые получала нелепые ответы, от которых все кругом хохотали.

Какой-то лицеист, тонкий, как хлыстик, прилично лысый, бледный, с синими подглазниками, как малокровная девушка, сел за рояль и заиграл вальс, по комнате завертелись пары, пена кружевных юбок ласкала носы сидевших в креслах старичков, смех делался резче, согретые тела декольтированных женщин примешивали в душистую, ароматную атмосферу свой odore di femine[10].

Какая-то глухая, странная злоба поднялась у Бругина на всё и на всех. Подойдя к ёлке, он потушил две-три свечи и вдруг задумался и широко раскрытыми пустыми глазами глядел на зелёные ветви дерева.

---

[10] Примечания: 10
Аромат женщин (*ит.*).

Музыка, обрывки французских и русских фраз, топот ног — всё исчезло, забылось, ёлка точно поднялась от земли и перенеслась далеко-далеко. Он увидел себя ребёнком, вспомнил свою мать, вспомнил, как она любила своего Нику. И вдруг ему точно шепнул кто в ухо: «Муся».

Бругин провёл рукою по глазам; в них была какая-то влага. Он вышел в прихожую, оттуда на площадку лестницы и уехал домой.

V

Бругин поднялся по лестнице, отпер, не звоня, карманным ключом входную дверь своей квартиры, прошёл освещённый коридор, взялся за ручку двери кабинета, постоял минуту и, тихо ступая на цыпочках, направился к дальней nursery. За дверью послышался милый, как нежное воркованье, голосок Муси и ласковые тихие ответы бонны.

— Скоро ёлка? — говорит ребёнок.

— Сейчас, деточка, закрой глазки и лежи смирно, пока я не скажу «готово».

— Хорошая будет у нас ёлка?

— Светлая, хорошая, с ангелом наверху.

— С ангелом! — ребёнок тихо засмеялся. — А папа и мама придут на мою ёлку?

— Н-не знаю, Мусик. Папа и мама приедут усталые и… верно, у себя помолятся за свою больную Мусю и благословят её.

«Помолятся», «благословят»… слова эти защекотали горло стоявшего за дверьми барона, и снова на глаза навернулась непрошеная влага.

— А вдруг, Нюта, ты скажешь «готово», я открою глаза, и папа и мама тут?

Девочка снова тихо, радостно засмеялась, но

бонна не ответила ничего.

В узенькую щель двери, за которою стоял Бругин, блеснула ниточка красноватого света и, ломаясь, трепеща, легла на линолеум коридора, ещё минута, и ёлка зажжена, он услышал «готово» и, не давая себе отчёта, сделал шаг вперёд. Муся радостно, тихо вскрикнула и протянула к нему худенькие, прозрачные ручки.

Сильное, властное чувство крови впервые заговорило в Бругине. Подойдя к кроватке, он дрожащими руками вынул из пазов крючки, спустил боковую решётку и встал на колени, осторожно, тихо протянул левую руку под подушку, правой обнял исхудалое тельце и прижал к груди свою крошечную Мусю.

— Девочка моя, девочка, крошка, Муся, — шептал он, и крупные слёзы падали из его глаз, и пластрон его рубашки с лёгким «краком» гнулся и ломался, букетик красной гвоздики выскочил из петлицы и по лепесткам рассыпался по полу и одеялу.

Муся, худенькая, хрупкая, как крошечная птичка, выпавшая из гнезда, прижалась к отцовской груди и лепетала что-то непонятное, нераздельное, но что лучше слов передавало восторг, переполнявший её маленькое любящее

сердечко.

Бонна Нюта стояла у ёлки и глядела на группу, не замечая, что и у неё, на её добрых карих глазах накипали слёзы и падали на передник.

А крошечная ёлка, поставленная на низенький столик, горела рождественскими огнями, кругом её сидели в креслах и на диванах нарядные куклы и глядели друг на друга эмалевыми блестящими глазками, над ёлкою, подвязанный на резиновых нитях, чуть-чуть колыхался толстый восковой ангел с голубоватыми блестящими крыльями, с золочёной трубой в правой руке, а на самой верхушке ёлки сияла громадная золотобумажная звезда.

Мир невидимой рождественской тайны, мир сказочный, кукольный и мир действительных человеческих страданий слился в одно.

— Оставь меня, папа, оставь! — вдруг прохрипела Муся. — Нюта! Нюта! — И, вся изогнувшись, посинев, Муся, подхваченная умелыми руками бонны, залилась хриплым «лаем» коклюша.

Барон, весь бледный, вытянувшись, стоял у кровати; каждый удар кашля эхом отзывался в его груди.

Впервые он физически почувствовал свою связь с этим ребёнком. Страдающая Муся была

часть его самого, его тела, его крови; грудь его дышала часто и глубоко, как бы желая помочь задыхавшейся детской грудке. Он поводил шеей и с усилием глотал слюну, точно его самого душила мокрота, клокотавшая в сдавленном горлышке Муси.

VI

Баронесса вернулась домой в беззаботно-птичьем настроении. Горничная Вера встретила её внизу у лестницы и, взяв из её рук веер и букет, почтительно последовала за нею в прихожую и заперла дверь.

Сбросив на руки подоспевшего лакея соболий плащ, баронесса сделала шаг в коридор и остановилась, подняв с раздражением брови. В первый раз, несмотря на дальнее расстояние, до неё долетел отрывистый, то хриплый, то звонкий, как крик, кашель ребенка.

Зоя Владимировна строго посмотрела на Веру.

— В детской, вероятно, отворена дверь? — И, предупреждая движение горничной, она сама прошла в коридор до его поворота; оттуда до неё ещё яснее долетел коклюшный свист и хрип; дверь в nursery действительно осталась открытой за бароном, и вырывавшийся из неё столп света ложился тёплым пятном на пол коридора и противоположную стену.

Прищурив свои холодные глаза, баронесса, едва сдерживая свой гнев на бонну, двинулась дальше и… остановилась на пороге детской. На

руках бонны лежало почти бездыханное тело малютки Муси; у кроватки стоял барон, смятый, растрёпанный, бледный, и самым «мещанским» образом совал себе в рот носовой платок, чтобы удержаться от слёз и рыданий, которые душили его, а на низеньком столе стояла ярко освещённая ёлка, и над нею горела громадная рождественская звезда.

Инстинктивно, испуганная внезапным молчанием ребёнка и слезами барона, Зоя Владимировна подошла к бонне и взглянула на посиневшее, мёртво-бледное лицо ребёнка. Сердце её вдруг сжалось.

— Что с Мусей? Она жива?

— Господь с вами, баронесса, ей лучше; разве такие были прежде приступы, — тихо отвечала ей бонна.

— Дайте мне её, — вдруг прошептала баронесса, протягивая к ней руки.

— Баронесса!

— Говорят вам, дайте!

Бонна осторожно переложила ребёнка на две ручки, охваченные драгоценными браслетами и затянутые в перчатки.

Зоя Владимировна чуть не ахнула: тело ребёнка до того было легко, что переданный ей сверток

батиста и кружев показался ей пустым. Мало-помалу измученная грудка ребёнка стала дышать ровнее, смоченные слезами муки длинные золотистые ресницы дрогнули и приподнялись, под ними блеснули, полные ещё влаги, синие глазки, ещё минута, сознание осветило личико Муси, розовость разлилась по нему, разомкнулись бледные губки, и она прошептала: «Мама, точно ангел».

Через полчаса Муся лежала в своей кроватке и снова тихо, весело ворковала, как пригретый солнцем голубёнок. На полу, у кроватки, утопая вся в блестящих белых волнах газа и кружев, сидела баронесса, локончики на её лбу распустились и некрасивыми прядями лежали во все стороны.

Брильянтовый полумесяц, подмигивая своими огнями, нырнул за прозрачные облака спутанных волос. Белая страусовая эгретка[11], как «отданное» знамя, трепалась у самого уха. Лицо баронессы без пудры раскраснелось, взгляд серых светлых глаз потеплел, и она «мещански» звонко смеялась, глядя на мужа, у которого вся грудь рубашки представляла собой одни ухабы

[11] Примечания: 11

Эгретка, эгрет — торчащее вверх перо или иное подобное украшение на женском головном уборе.

и рытвины, усы, забывшие всякую дисциплину щипцов и фиксатуара, держали себя «вольно»: один — наверх, другой — вниз. Покрасневшие от слёз глаза барона весело щурились, в то время как он с самым серьёзным видом нажимал пуговку у большого картонного льва, который ревел и встряхивал гривой.

VII

Одна за другою догорают рождественские свечи на Мусиной ёлке. Звезда таинственно мерцает на верхушке дерева. Утомлённый счастьем ребёнок засыпает тихо, с улыбкой, не успевшей сбежать с бледных губок. Барон Нико Бругин и баронесса Зоя Владимировна сидят ещё на полу, не смея встать из страха потревожить первый лёгкий сон ребёнка. Они глядят друг на друга, и при трепетном свете рождественских огней впервые видят себя людьми, без прикрас, без обмана изящного костюма, без лжи, условных поз и улыбок. Они простые муж и жена, они жалкие отец и мать, так как ни титул их, ни богатство не могут избавить их ребёнка от страдания и смерти. Восковой толстый херувим с голубоватыми крыльями и с золочёной трубой в правой руке, не перестающий колыхаться на резиновых нитях, теряет в их глазах, очищенных слезами страдания, свой сентиментально-комический вид и напоминает им тех ангелов, которые на день Рождества Христова возвестили земле «мир и в человецех благоволение». Тихонько, едва дыша, встаёт с пола баронесса, встаёт и барон, оба на цыпочках идут

к двери, на пороге обёртываясь ещё раз, чтобы взглянуть на тихо спящую малютку. Инстинктивно, как бы ища опоры, баронесса протягивает руку мужу, барон обнимает её, прижимает её к своей груди, и оба, глядя на воскового херувима, шепчут: «Бог милостив — Муся поправится».

Нюта со своей доброй улыбкой прибирает тихонько nursery. Маленькой щёткой она подметает с пола осыпавшиеся иглы ёлки, разноцветные бумажки от «щелкушек» и с ними в одну кучу попадает и выпавший из перчатки баронессы адрес манежа: «Совместный курс езды на велосипедах для дам и мужчин».

Муся спит, и в окно с неба, как символ примирения и прощения, смотрит яркая рождественская звезда.

1893

С. М. Макарова. Рождественский фонарь

— Ну что? Всё есть? — спрашивает паренёк, выбегая на улицу и останавливаясь перед весёлой толпой мальчиков.

— Всё, как есть всё, — отвечает торжественно один из них, — только свечей мало, кабы ещё парочку добыть, так большущую вещь смастерили бы.

— Нате, вот целёшеньких две притащил, — перебивает его радостно пришедший, подавая две сальные свечки. — У тятьки выпросил. Уж и ругал-то он меня, за волосы оттаскать обещался, а всё ж дал! Да вот ещё красной бумаги лист выпросил, как жар горит, ажно больно глазам глядеть.

— Молодец Филька! — закричали пареньки.

— Куда ж мы? — спрашивает весь сияющий Филька.

— Да к Стёпке, у него в доме никого, одна бабушка с малыми возится.

— К Стёпке так к Стёпке! — и вся гурьба ребят повалила по направлению к небольшому старому низенькому домику.

— Никак наши воротились! — говорит худая старушонка, заслышав топотню в сенцах. — Что так-то больно раненько! — и она направляется к двери в ту самую минуту, как толпа парней, со Стёпкой во главе, остановилась в сенцах, не смея войти. — Ну что ж вы там в горницу нейдёте? — говорит ласково старушка. Ребята захихикали и выдвинули вперед Стёпку, тот шагнул через порог, а за ним и все. Старушка в удивлении попятилась, затем строго крикнула: — Чего набрались, пострелята?

— Бабушка, родненькая, — начал ласковым голосом Стёпа, — вещь мастерить хотим.

— Так вам и позволю! Всю горницу вверх дном поставите!

— Смирнёшенько посидим, — завопили все, — пусти только!

— Хозяев дома нет, а я вас пущу! Как бы не так.

— Бабушка, пусти, — просит плаксивым голосом Стёпа. — У нас всё с собой, только вот вещь мастерить позволь.

— Ну вас! Только чур, не баловать, а то вот чем угощу. — И она показала им большую кочергу, которой мешала в ярко топившейся печке. Ребята быстро разместились, повытаскивали из-за пазухи — кто лоскут цветной ткани, кто кусок сала

или масла, тщательно завёрнутый в бумагу, кто мучицы на клейстер, кто ленту, кто картинку. Самый опытный из них, Трошка, торжественно выложил тонкие, гибкие прутики молодого ивняка и принялся мастерить вещь и оклеивать лубочными, пропитанными маслом, картинками. Работы было немало всем. Говором и хохотом наполнилась вся изба, и как ни грозила кочергой бабушка, а ребята так и шмыгали к печке — то подварить клейстер, то просушить готовую часть рождественского фонаря.

«Бабушка, ниточек», — просит один. «Вот кабы воску», — говорит заискивающим голосом другой. «Ишь, игла сломалась, а другой нет», — закидывает третий, поглядывая на бабушку. Та ворчит, но даёт все, да ещё в печку картошек в золу положила. Ребята лукаво переглянулись при виде этого крупного картофеля.

— А ну, ребята, — крикнул Трошка, — давай повторим стих!

Все разом гаркнули было «Рождество Твоё», да так громко, что спавший за занавеской ребёнок испугался и заплакал, и тут кочерга бабушкина так ловко прошлась по спинам и затылкам певчих, что они разом смолкли. Басистые и дискантовые голоса обратились в хныканье,

просьбы не гнать и в торжественные обещанья больше не горланить. По мере того как формы фонаря стали определяться, бабушка смиловалась и с удовольствием разглядывала работу. Ей вспомнилось её детство и виденный ею в первый раз в жизни фонарь, вспомнились ей при этом восторг и удивление, с которыми она его рассматривала, чувство праздника, охватившее её при этом светлом видении и славленьи. Пение ребят и светлый образ, выделявшийся в темноте ночи, ей показались тогда чем-то неземным, часто потом она видела во сне светлую звезду, украшенную пучками разноцветных лент и лоскутков. Вспоминались ей и девичьи субботки. Уж как весело бывало на этих субботках! Были две молодые вдовы Алтова да Преснина, так уж у них такой пир всегда шёл, что весь год помнился. Примостят они, бывало, у печки скамейки, одна повыше другой, наставят разных закусок, девушки разоденутся и сидят на скамейках, словно картины писаные. Для парней скамьи у дверей припасены. И купеческие сыны не брезговали бывать на субботках и разных лакомств и закусок нанесут полные узлы. А фонарь-то какой девушки мастерили! Хорош тот, что пареньки клеят, но их был ещё лучше. Уж как Потап Ильич

малевал на том фонаре Иродово мученье в аду да убиение младенцев, так уж никто лучше его не распишет. А уж на ясли, волхвов и Страшный суд так и купцы заглядывались. Засветят девушки в фонаре десяток свечей и начнут славленьем, а песни поют, да какие песни — одна другой лучше! А прибаутки так и сыпались. Вот и она познакомилась на субботках со своим муженьком. Что ж, хорошо ведь как прожила она со своим Пахомычем, не дал ему только Господь долгого веку. Господня воля! И вдовой живётся ей не ахти как худо: невестки её берегут, почитают, внуки как красные яблоки в саду, молодость как вспомнится, так сердце встрепенётся. Пойдут, бывало, девушки с фонарём из дома в дом, и в каждом-то им всего припасено. Натешатся девушки фонарём и ребятишкам отдадут, те на салазки поставят — и марш Христа славить. Иные подростки мастерски про Ирода певали, хоть кого распотешат.

— А что, ребята, — обратилась она к работавшим, — дай я вас старой песне научу.

— Научи, научи, бабушка! — закричали ребятишки.

Старуха одернула кофту и затянула дребезжащим голосом:

Шёл, перешёл месяц по небу,

Встретился месяц с ясною зарёю.

– Ой, заря, где ты у Бога была?

Где ты у Бога была, где теперь станешь?

– Стану я в Ивановом дворе,

В Ивановом дворе, в его горенках,

А во дому у него да две радости

Первая радость – сына женити,

А другая радость – дочку отдати.

Будь здоров, Иван Терентьич,

С отцом, с матерью, со всем родом,

Со Иисусом Христом, Святым Рождеством!

— Мы песню эту Трофимычу споём, — решил Трошка. — У него сын жених и дочь подросток. А голосу-то научи!

— Вот погодите, малый встанет, так поучу.

Вскоре и малый поднялся, и песня громко парням пропета. Вот уж и солнышко заходит, того гляди, хозяева приедут — пора по домам. Собирают парни всё своё добро, фонарь на палку у печки ставят, бумагой закрывают — пусть попросохнет в тепле, а сами бегут весёлой гурьбой на улицу. Бабушка принимается мыть и скрести стол, слег-

ка охает и головой покачивает:

— Ишь пострелята, что напачкали!

Вот и святые вечера Рождества Христова настали. Всем отдых, всем свои радости. Ребята как сыр в масле катаются… Утро всё в игре проходит; за обедом горячее с говядиной, вкусные лепёшки, а как вечер настанет, идут Христа славить. В каком дому свеча на окне — значит, рады гостям. В тот двор въезжают и славят, а их угощают сластями да пирогами, а то и денег дадут.

Саша Чёрный. Рождественский ангел

— Подайте, Христа ради, милостыньку! Милостыньку, Христа ради!..

Никто не слышал этих жалобных слов, никто не обращал внимания на слёзы, звучавшие в словах бедно одетой женщины, одиноко стоявшей на углу большой и оживлённой городской улицы.

— Подайте милостыньку!..

Прохожие торопливо шагали мимо неё, с шумом неслись экипажи по снежной дороге. Кругом слышался смех, оживлённый говор…

На землю спускалась святая, великая ночь под Рождество Христово. Она сияла звёздами, окутывала город таинственной мглой.

— Милостыньку… не себе, деткам моим прошу…

Голос женщины вдруг оборвался, и она тихо заплакала. Дрожа под своими лохмотьями, она вытирала слёзы окоченевшими пальцами, но они снова лились по её исхудалым щекам. Никому не было до неё дела…

Да она и сама не думала о себе, о том, что совсем

замёрзла, что с утра не ела ни крошки… Вся мысль её принадлежала детям, сердце болело за них…

Сидят они, бедные, там, в холодной тёмной конуре, голодные, иззябшие… и ждут её… Что она принесёт или что скажет? Завтра великий праздник, всем детям веселье, только её бедные детки голодны и несчастны.

Что делать ей? Что делать? Все последнее время она работала как могла, надрывала последние силы…

Потом слегла и потеряла последнюю работу…

Подошёл праздник, ей негде взять куска хлеба…

О, детки, бедные детки! Ради них она решилась, в первый раз в жизни, просить милостыню… Рука не поднималась, язык не поворачивался… Но мысль, что дети её есть хотят, что они встретят праздник — голодные, несчастные, эта мысль мучила её, как пытка. Она готова была на всё. И за несколько часов ей удалось набрать несколько копеек… Несчастные дети! У других детей — ёлка, они — веселы, довольны в этот великий праздник, только её дети…

— Милостыньку, добрые люди, подайте! Подайте, Христа ради!

И, словно в ответ на её отчаяние, неподалёку

раздался благовест… ко всенощной. Да, надо пойти, помолиться… Быть может, молитва облегчит её душу… Она помолится усердно о них, о детях… Неверными шагами доплелась она до церкви…

Храм освещён, залит огнями… Всюду масса людей… весёлые довольные лица. Притаившись в уголке, она упала на колени и замерла… Вся безграничная, материнская любовь, вся её скорбь о детях вылилась в горячей молитве, в глухих скорбных рыданиях. «Господи, помоги! Помоги!» — плачет она. И кому, как не Господу Покровителю и Защитнику слабых и несчастных, вылить ей всё своё горе, всю душевную боль свою? Тихо молилась она в уголке, и слёзы градом лились по бедному лицу.

Она не заметила, как кончилась всенощная, не видела, как к ней подошёл кто-то…

— О чём вы плачете? — раздался за ней нежный голос, показавшийся ей небесной музыкой.

Она очнулась, подняла глаза и увидала перед собой маленькую, богато одетую девочку. На неё глядели с милым участием ясные детские глазки. Сзади девочки стояла старушка-няня.

— У вас есть горе? Да? Бедная вы, бедная! — Эти слова, сказанные нежным детским голосом, глубоко тронули её.

— Горе! Детки у меня голодны, с утра не ели… Завтра праздник такой… великий…

— Не ели? Голодны? — На лице девочки выразился ужас.

— Няня, что же это! Дети не ели ничего! И завтра будут голодны! Нянечка! Как же это?

Маленькая детская ручка скользнула в муфту.

— Вот, возьмите, тут есть деньги… сколько, я не знаю… покормите детей… ради Бога… Ах, няня, это ужасно! Они ничего не ели! Разве это можно, няня!

На глазах девочки навернулись крупные слёзы.

— Что ж, Маничка, делать! Бедность у них! И сидят, бедные, в голоде да в холоде. Ждут, не поможет ли им Господь!

— Ах, нянечка, мне жаль их! Где вы живёте, сколько у вас детей?

— Муж умер — с полгода будет… Трое ребят на руках осталось. Работать не могла, хворала всё время… Вот и пришлось с рукой по миру идти… Живём мы недалеко… вот тут… в подвале, на углу, в большом каменном доме купца Осипова…

— Няня, почти рядом с нами, а я и не знала!.. Пойдём скорее, теперь я знаю, что надо делать!

Девочка быстро вышла из церкви в сопровож-

дении старухи.

Бедная женщина машинально пошла за ними. В кошельке, который был у неё в руках, лежала пятирублёвая бумажка. Забыв всё, кроме того, что она может теперь согреть и накормить дорогих ребяток, она зашла в лавку, купила провизии, хлеба, чаю, сахару и побежала домой. Щеп осталось ещё довольно, печку истопить ими хватит.

Она бежала домой из всех сил.

Вот и тёмная конурка. Три детских фигурки бросились к ней навстречу.

— Маменька! Есть хочется! Принесла ли ты? Родная!

Она обняла их всех троих и облила слезами.

— Послал Господь! Надя, затопи печку, Петюша, ставь самовар! Погреемся, поедим, ради великого праздника!

В конурке, сырой и мрачной, наступил праздник. Дети были веселы, согрелись и болтали. Мать радовалась их оживлению, их болтовне. Только изредка приходила в голову печальная мысль: что же дальше? Что дальше будет?

— Ну, Господь не оставит! — говорила она себе, возлагая всю надежду на Бога.

Маленькая Надя тихо подошла к матери, прижалась к ней и заговорила.

— Скажи, мама, правда, что в рождественскую ночь с неба слетает рождественский ангел и приносит подарки бедным детям? Скажи, мама!

Мальчики тоже подошли к матери. И желая утешить детей, она начала им рассказывать, что Господь заботится о бедных детях и посылает им Своего ангела в великую рождественскую ночь, и этот ангел приносит им подарки и гостинцы!

— И ёлку, мама?

— И ёлку, детки, хорошую, блестящую ёлку!

В дверь подвала кто-то стукнул. Дети бросились отворить. Показался мужик, с маленькой зелёной ёлкой в руках. За ним хорошенькая белокурая девочка с корзиной, в сопровождении няни, несшей за ней разные свёртки и пакеты.

Дети робко прижались к матери.

— Это ангел, мама, это ангел? — тихо шептали они, благоговейно смотря на хорошенькую нарядную девочку.

Ёлка давно стояла уже на полу. Старуха няня развязала пакеты, вытащила из них вкусные булочки, кренделя, сыр, масло, яйца, убирала ёлку свечами и гостинцами. Дети всё ещё не могли прийти в себя. Они любовались на «ангела». И молчали, не двигаясь с места.

— Вот вам, встречайте весело Рождество! —

прозвучал детский голосок. — С праздником!

Девочка поставила на стол корзину и исчезла, прежде чем дети и мать опомнились и пришли в себя.

«Рождественский ангел» прилетел, принёс детям ёлку, гостинцы, радость и исчез, как лучезарное виденье…

Дома Маню ждала мама, горячо обняла её и прижала к себе.

— Добрая моя девочка! — говорила она, целуя счастливое личико дочери. — Ты отказалась сама от ёлки, от гостинцев и всё отдала бедным детям! Золотое у тебя сердечко! Бог наградит тебя…

Маня осталась без ёлки и подарков, но вся сияла счастьем. С своим милым личиком, золотистыми волосами она в самом деле походила на «рождественского ангела».

В. Евстафиева. Ваня

Уткнувшись своим хорошеньким розовым личиком в подушку дивана, Милочка горько плакала. Судьба так жестоко и неожиданно послала ей первое тяжёлое разочарование. Она с таким нетерпением ожидала того дня, когда ей исполнится шестнадцать лет, когда она из девочки превратится во взрослую барышню, наденет длинное кисейное, «в мушки», платье и поедет на свой первый бал. Она так мечтала об этом платье. И вдруг… мать объявила ей сегодня, что платья не будет и что о бале и думать нечего, что средств на это нет.

Эти ужасные слова как громом поразили её. Милочка к этому совсем не была подготовлена. Она так избалована, так привыкла к роскоши, которая её окружала ещё так недавно. В её хорошенькой головке никак не могла вместиться мысль, что со смертью отца иссяк источник этой роскоши, что полтора года, прошедшие со дня его кончины, совершенно разрушили её материальное благополучие и создали ей новую, полную горя и лишений, жизнь, о которой она не имела

ни малейшего представления. Она приехала из института домой на рождественские праздники с заветною мечтой о первом бале, и вот эту мечту пришлось теперь хоронить. Это было ужасно. В доме шли приготовления к сочельнику, но Милочка, вся поглощённая своим горем, ничего не замечала. Порою она поднимала от подушки своё заплаканное личико и, обращаясь к стоявшему перед нею гимназисту лет девятнадцати, с отчаянием повторяла:

— Ты понимаешь, Ваня, это была моя мечта, заветная мечта! — и, забывая на минуту о своём горе, она продолжала: — Мы с Таней Лукинской… помнишь Таню? Ещё такая маленькая, рыженькая?.. — Гимназист кивнул головой. — Так вот, мы с Таней всё мечтали о первом бале и решили, что у ней должно быть розовое кисейное платье, а у меня белое в мушки… А мама сегодня сказала… что и ей-то не в чем идти со мною, что всё… всё хорошее продала… Не будет моего бала… моего первого бала… — через слёзы договорила Милочка и снова, уткнувшись в подушку, разрыдалась. Ваня стоял над плачущей сестрой и что-то соображал. Потом неровной, угловатой походкой направился в переднюю. Проходя мимо комнаты Анны Николаевны, своей мачехи, он с

беспокойством оглянулся на дверь, как бы желая удостовериться в том, что он может уйти незамеченным, и стал торопливо надевать пальто.

— Ах, оставь меня в покое! — раздался в соседней комнате раздражённый голос Анны Николаевны — Я уже тебе сказала, что ёлки не будет. А если ты не перестанешь хныкать, то я тебя выгоню вон из моей комнаты.

Это энергичное предупреждение, однако, не помогло. Через минуту до слуха Вани долетел ещё более резкий возглас мачехи: «Так ты так слушаешь маму?.. Марш в детскую!..» На пороге с шумом отворившейся двери появилась Анна Николаевна, ведя за руку упиравшуюся и горько плакавшую девочку лет пяти. «Марш!» — повелительно повторила Анна Николаевна, толкая девочку по направлению к детской.

— А ты куда это опять отправляешься? — недовольным тоном спросила Анна Николаевна, увидев Ваню в пальто и с фуражкой в руке.

— Я сейчас… то есть скоро приду, — ответил Ваня, угрюмо смотря в сторону и неловко напяливая на себя фуражку. Анна Николаевна остановила на юноше свой холодный, почти враждебный взгляд и тем же недовольным тоном произнесла:

— Мне очень не нравится твоё постоянное

отсутствие. Не понимаю, куда ты всё ходишь? Вот уже два месяца, как ты дома бываешь только во время еды. Ты даже не считаешь нужным говорить мне, куда ты идёшь. А ведь вся ответственность за твоё поведение лежит на мне. Посторонние люди могут сказать, что я для тебя злая мачеха, что я не занимаюсь твоим воспитанием, что я не уберегла тебя от дурного влияния.

— Но, уверяю вас, мамаша, что я ничего дурного не делаю. Я иду на репетицию.

— Ну, сегодня-то уж мог бы посидеть и дома. Ведь знаешь, что перед праздником много работы. Мог бы в чём-нибудь помочь мне. Да, кстати, почему это ты всегда запираешь на ключ свою комнату?

Юноша смешался; густой румянец покрыл его щёки.

— Так… у меня там… боюсь, что Соня и Митя мои книги попортят… бумаги порвут…

— Какая заботливость! Давно ли ты стал беречь свои книги? — поджимая губы, процедила Анна Николаевна и, круто повернувшись, пошла в свою комнату.

Ваня посмотрел вслед уходившей мачехе и, нахлобучив фуражку, поспешно вышел из дому.

В столовой всё ещё плакала Милочка. В дет-

ской Соня и семилетний Митя, перебивая друг друга, рассказывали старушке-няне, какая у них была давно-давно чудная огромная ёлка. Они с огорчением жаловались няне, что Боженька взял их папу и что мама говорит, что ёлки уже больше никогда не будет. Личики их печальны. Старушка-няня ласкает детей, гладит их головки и в утешение рассказывает о чудном Божественном Младенце, который много лет тому назад родился в пещере. Что большая звезда появилась тогда на небе и привела пастухов и волхвов в ту пещеру, где в яслях на сене почивал Спаситель мира. Долго говорит няня о чудном Младенце. Дети жмутся к старушке и, забыв о своём горе, с восторгом и любопытством слушают простой и таинственный рассказ своей няни.

А в это время в спальне на неубранной постели сидит Анна Николаевна и думает свою невесёлую думу. Мысли вереницей проходят в печально склоненной голове. Вспомнилась её девичья жизнь в доме родителей, жизнь безбедная, беззаботная, годы учения, подруги по гимназии; вот и желанные шестнадцать лет — она уже взрослая барышня. Каким ясным, заманчивым казалось ей будущее! Сердце радостно билось и рвалось навстречу этому неизвестному, но милому буду-

щему. Семнадцати лет она страстно влюбилась и вышла замуж за молодого вдовца. Муж её любил и баловал. Ничто, казалось бы, не должно было омрачать счастливых дней новобрачных; но, однако, у семейного очага их нередко происходили горячие вспышки, а порою и продолжительные ссоры. Анна Николаевна, безумно любившая своего мужа, не могла примириться с мыслью, что другая женщина была ещё так недавно близка и дорога её мужу. Что эта женщина оставила, как залог своей любви, годовалого ребёнка, которого отец обожал. Этот ребёнок, этот капризный, некрасивый и вечно пасмурный ребёнок, Ваня, кидавший на неё взгляды исподлобья.

Ваня не вернулся к обеду, и за столом Анна Николаевна своё недовольство выплеснула на няню:

— Ты, няня, рассказывай детям сказки когда-нибудь в другое время, а не за столом.

— Да нешто это, барыня, сказки? Я им только сказала, чтобы чинно себя вели, а то ёлки не получат.

— Получат или не получат — это моё дело! — перебила её Анна Николаевна. — А ангелы-то тут при чём?

— Как при чём? — обиженно спросила стару-

ха. — Известное дело, что в Сочельник ангелы Господни промеж хороших людей летают и милость Божью разносят. Кто чего хочет, то от Господа и получает. А детям одна радость — ёлка да гостинцы, больше им ничего не надо. Вот Боженька им эту радость через своих ангелов и посылает, ежели они хорошо себя ведут, — наставительно докончила няня, гладя Митю по головке.

— Мама, мама, Ваня плисол! — радостно вскрикнула Соня, увидев через полуоткрытую дверь проходившего по коридору брата.

— Ну, пришёл так пришёл. Чего же ты кричишь-то? — раздражённо сказала Анна Николаевна и, обращаясь к вошедшему через минуту в столовую пасынку, сурово спросила: — Где ты был? — и, не дожидаясь ответа, добавила: — Ты бы хоть немножко почище оделся по случаю праздника. Гостей хотя и нет, а всё же следует быть поприличней. Посмотри, на что ты похож? — и она брезгливо указала на его короткую, всю в пятнах куртку. Юноша густо покраснел.

— У меня ничего другого нет, всё уже износилось, — ответил он, глядя в тарелку.

— А твои репетиции? Ведь ты зарабатываешь больше двадцати рублей в месяц.

— Я почти всё отдаю вам, — тихо сказал Ваня и исподлобья с упреком посмотрел на мачеху. Анну Николаевну уколол этот ответ, и она, больше ничего не сказав, отвернулась к детям.

— А я у Вани видела большую кальтину, — сказала вдруг Соня, нарушая наступившее тягостное молчание. — Она лежала на полу, и Ваня всё по ней лязными каляндасиками водил; большая-плебольсая! — протянула девочка и, оттопырив свои розовые губки, добавила: — Ваня всё от меня двели запилял, а я всё виделя, виделя.

— Что это, ты живописью забавляешься? Поздравляю. Хорошее занятие для ученика восьмого класса, у которого выпускные экзамены на носу! — с иронической улыбкой протянула Анна Николаевна.

Ваня ничего не ответил и низко наклонил голову над тарелкой. Он привык к враждебному отношению к себе мачехи, но сегодня ему было особенно тяжело выслушивать эту колкость. Его приподнятое, радостное настроение сразу исчезло, сердце болезненно сжалось, и перед мысленным взором его снова предстали грустные картины недавнего детства и юношества. Не испытавший нежной материнской ласки, Ваня рос в семье как чужой. Отец его любил, но,

занятый службой, редко был в кругу семьи. Энергичный, деятельный и вечно занятый крайне ответственными инженерными работами, он не баловал детей особенной нежностью и к Ване относился, как и к прочим детям, спокойно и сдержанно. Но как радостно билось сердце Вани, когда отец, заметив несправедливое отношение к нему мачехи, ласковыми словами старался его утешить. Но это случилось нечасто. Время шло. Из необщительного, забитого ребёнка Ваня стал юношей, сознательно относившимся к своему положению в семье. Обращение мачехи не сделалось лучше, хотя он и старался не давать ей повода высказывать своё недоброжелательство. Всегда почтительный и вежливый, он спокойно переносил её резкости, что, видимо, ещё более раздражало её.

Но вот умер отец. Условия жизни Вани и всей семьи круто изменились. Роскошная обстановка, обширный круг знакомых, весёлая, беззаботная жизнь — всё это исчезло как по мановению волшебного жезла. Отец ничего не оставил семье, кроме маленькой пенсии, которой еле-еле хватало на то, чтобы не умереть с голоду. Из большой богатой квартиры Анна Николаевна с семьёй перебралась в крошечные четыре комнатки, и тут

началась новая, полная горя и лишений жизнь. Ване тогда пошёл восемнадцатый год.

Видя тяжёлое положение семьи, он разыскал себе репетиции и из заработанных денег стал платить за своё учение в гимназии и мачехе за комнату, которую занимал. Анна Николаевна вначале решительно отказалась брать от Вани эту плату, но потом, скрепя сердце, согласилась принять эту помощь от нелюбимого пасынка. Ваня усердно работал и с нетерпением ждал окончания курса гимназии, мечтая о поступлении в технологический институт. Заветной мечтой его было: стать на ту же дорогу, по которой шёл его отец. Он поставил себе целью восстановить материальное благосостояние своей семьи, разрушенное преждевременной смертью отца, и, торжествуя нравственную победу над ненавидящей его мачехой, прекратить этот многолетний гнёт вражды. Ему больно было выслушивать незаслуженный упрёк Анны Николаевны, но он скрыл обиду и, почтительно поцеловав руку мачехи, по окончании обеда ушёл в свою комнату.

Анна Николаевна посмотрела вслед уходящему пасынку и, пожав плечами, молча встала из-за стола. Милочка тяжело вздохнула и перебралась от стола на свой любимый диван; няня,

шепнув что-то на ухо детям, поспешно увела их в детскую. Грустное, подавленное настроение овладело Анной Николаевной. Она долго ходила взад и вперёд по комнате, видимо, не замечая ни убиравшей со стола служанки, ни неподвижно сидевшей на диване Милочки. Ее мысли опять устремлялись в прошлое, и снова, помимо воли, восстанавливалась в памяти прежняя счастливая и беззаботная жизнь с мужем. Весёлый и приветливый, несмотря на то, что всегда был обременён работой, муж её умел вселять во всех жизнерадостное настроение.

«Какая поразительная разница в характерах между отцом и сыном! — подумала Анна Николаевна, представляя себе молчаливого, необщительного Ваню. — Должно быть, пошёл в мать!» — и снова чувство ревности, когда-то так сильно её мучившее, шевельнулось в её сердце. Она круто повернулась и хотела идти в свою комнату, как вдруг над самым её ухом раздался голос Вани.

— Мамаша, Милочка, пойдите в мою комнату. Я там детям сюрприз приготовил. Соню и Митю нужно позвать скорей, — заторопился он и уже совершенно растерянно проговорил: — Я им ёлочку, маленькую ёлочку приготовил и уже

зажёг.

— Ты?.. Детям ёлку?.. — как бы не доверяя своим ушам, спросила Анна Николаевна и с удивлением на него посмотрела.

Он поднял на неё свои серые глаза и, виновато улыбнувшись, тихо ответил:

— Да, я. Но скрывал от вас, хотел сюрприз сделать детям.

Анне Николаевне не верилось, что неуклюжий, суровый и, как ей казалось, равнодушный к семье юноша приготовил подобный сюрприз. А Ваня уже бежал в детскую и громко кричал:

— Соня, Митя, Боженька вам ёлку послал! Идите скорей в мою комнату! — и снова помчался назад за сестрой и мачехой, которых уже застал у своих дверей.

Небольшая комнатка Вани была чисто им самим убрана. Стол и стулья отодвинуты к стене. Посреди комнаты, вся сверкая огнями, стояла небольшая нарядная ёлка.

Вбежавшие дети с восторгом смотрели на неё и, радостно хлопая в ладоши, весело повторяли:

— Боженька нам ёлку послал. Боженька добрый!

Милочка, забыв своё горе, радостно бросилась к подошедшему брату и с любопытством спросила:

— Ванюша, скрытный, скверный, да когда же это ты успел всё купить и приготовить?

— Я и ещё кое-что успел приготовить, для тебя и мамы, — сказал он, видимо, смущаясь. — Соня, это тебе, — говорил он, подавая девочке большую нарядную куклу с белокурыми длинными локонами, вызвавшую самый бурный восторг Сони. — А это тебе, — и он подал Мите высокую, на колесах лошадку, на которую мальчуган сейчас же и уселся, погоняя её и бросая на сестру победоносные взгляды храброго ездока. — Смотри, Соня, не подходи близко к лошади, а то раздавит! — крикнул Ваня и, делая вид, что очень её боится, прижался к стене.

Анна Николаевна с улыбкой взглянула на неловкого юношу и против воли остановила на нем умилённый и ласковый взор. Она смотрела на раскрасневшееся от радостного волнения лицо Вани, на его глаза, весело сверкавшие из-под густых бровей, и с изумлением заметила в нём поразительное сходство с покойным мужем. «Отчего я раньше этого не замечала?» — мысленно упрекнула себя Анна Николаевна и всё ласковее всматривалась в преобразившееся лицо Вани.

Как не похож был этот теперешний весёлый взор его на тот суровый исподлобья взгляд, к кото-

рому так привыкли все его окружающие! Словно луч весеннего солнца, растопил этот взор ледяную гору, столько лет покрывавшую сердце Анны Николаевны, и со дна души вызвал небывалое доселе нежное чувство к нелюбимому пасынку.

— Мамаша, а это вот я вам приготовил, — проговорил Ваня и несмело подал Анне Николаевне небольшой футляр.

Она с любопытством раскрыла его, и сердце её радостно забилось. В футляре, на малиновом плюше, лежала давно желанная ею золотая брошь с раскрашенной фотографией её мужа.

Анна Николаевна, в первый раз за все восемнадцать лет, крепко, с любовью поцеловала склонённую голову юноши. Он порывисто ответил на эту ласку, горячо прижав к губам её руку. Потом быстро подошёл к столу и развернул какой-то свёрток.

— Ах! — вскрикнула Милочка и бросилась к столу. Перед нею Ваня держал прозрачную белую кисею в мушки. Милочка даже зажмурилась от радости. Она, видимо, не доверяла собственным глазам. Подарок был слишком неожидан.

— А здесь и маме на платье, — говорил Ваня, развертывая второй свёрток и вынимая из бумаги серую блестящую полушёлковую материю. — Те-

перь ты можешь под Новый год ехать с мамой на твой первый бал. — Он светло улыбнулся, посмотрев на озарённое счастьем лицо сестры, и ласково добавил: — Теперь ты ведь больше плакать не будешь?

— Ванюша, милый, голубчик! — взволнованно проговорила Милочка и стремительно бросилась на шею брата. Кисея и материя соскользнули со стола на пол, но девушка, не обращая на это внимания, душила брата в своих горячих бурных объятиях, поминутно повторяя: — Ванюша, я не знала, какой ты хороший! Ты добрый, славный, и я крепко-крепко люблю тебя…

Анна Николаевна подняла с пола материю и тоже подошла к Ване.

— Да пусти же меня, стрекоза, — шутливо заметила она дочери, — я тоже хочу поцеловать и поблагодарить Ваню. — Мягким жестом отстранив девушку, она нежно привлекла к себе сконфуженного юношу и, ласково заглядывая ему в глаза, тихо проговорила: — Ваня, ты сегодня принёс нам всем большую радость. Милый мой мальчик, спасибо тебе.

Она в первый раз назвала его «милым», в первый раз с нежной лаской, а не со строгим выговором, обратилась к нему. Под ласкающим

добрым взглядом больших чёрных глаз Анны Николаевны юноша забыл своё одинокое безрадостное детство, забыл горечь незаслуженных обид. Душа его, так давно жаждавшая любви и участия, сразу раскрылась, и он, примирённый и счастливый, доверчиво встретил горевший неподдельным чувством любви взор мачехи.

Они долго молча стояли, крепко прижавшись друг к другу. Казалось, эта надломленная жизнью женщина искала опоры в этом сильном, полном энергии, молодом существе.

А вокруг них жизнь кипела ключом. Соня и Митя, весело и громко покрикивая, носились вокруг ёлки, глядя жадными глазками на аппетитные лакомства. Милочка, что-то напевая и чему-то улыбаясь, рассматривала белую кисею. На пороге стояла старушка-нянька и, с добродушной улыбкой посматривая на ликующих детей, тихонько шептала:

— Слава тебе Господи, слава Создателю! Дождались и мы радостного праздника!

— Но скажи же мне, скажи откровенно, — спрашивала немного погодя Анна Николаевна, усаживая около себя пасынка, — что это тебе вздумалось устраивать эту ёлку? На какие средства?

— О, об этом я давно думал, — глубоко вздохнув,

проговорил Ваня. — Я носился с этой мыслью целый год. Видя перед собой постоянно, как вы перебиваетесь изо дня в день, я стал искать, кроме уроков, ещё другой какой-нибудь работы. Мой знакомый, губернский архитектор, дал мне чертить планы.

— Это, должно быть, те, которые видела Соня и назвала картинами? — живо спросила Анна Николаевна.

— Те самые, — ответил Ваня. — Я в продолжение трёх месяцев почти не спал над ними. Мне хотелось заработать на ёлку детям. Я хотел помочь вам… А сегодня, — уже торопливо продолжал он, точно боясь, что не успеет всего высказать, — сегодня, когда я увидел слёзы Милочки, я не выдержал, пошёл к архитектору и взял вперёд у него денег на платья и на шитьё их. Я потом всё-всё отработаю, — краснея от волнения и радости, говорил юноша.

— Но, Ваня, ведь тебе эта работа не по силам, — вырвалось у Анны Николаевны. — Это ты уж слишком. Я не могу тебе этого позволить. Не могу… Я…

— Ничего, ничего, мамаша, — живо прервал её Ваня. — Обо мне не беспокойтесь, я сильный, могу много работать, я ведь в папу… Вот толь-

ко бы вам с детьми перебиться, пока я буду в технологическом институте, а потом… потом мы заживем так же, как при папе, — докончил он уже весело и весело-самоуверенно тряхнул густыми волосами. — Правда, Милочка?.. — и, не дожидаясь ответа, вскочил со стула и подбежал к своей младшей сестренке.

Через минуту Соня, захлёбываясь от хохота, сидела на плечах у Вани, который бегал вокруг ёлки, догоняя Митю, и ржал по-лошадиному, изображая коня. «Весь в отца!» — подумала Анна Николаевна, глядя на возбуждённое и озарённое беспредельной радостью лицо пасынка. В весёлом шуме, наполнявшем комнату, ей мысленно слышится самоуверенный голос Вани, повторяющий: «Я сильный, могу много работать, я — в папу!»

Тихое радостное чувство овладело ею. От недавнего раздражения и недовольства жизнью не оставалось и следа. Угнетавшая её тоска, трепет перед неизвестным будущим своих детей исчезли, словно туман при восходе солнца. Она видит впереди мощную фигуру пасынка, смело вступившего на дорогу своего отца, она видит протянутую ей сильную руку, и снова звучат его слова: «Я сильный, я — в папу!»

1905

И. А. Бунин. Волхвы
Из «Провансальских пересказов»

«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему…»[12].

Старый провансальский поэт рассказывает, как они детьми встречали волхвов на зимней пустынной Арльской дороге.

Он рассказывает приблизительно так:

— Дети, — говорили нам матери в канун праздника волхвов, — если вы хотите видеть их шествие к Младенцу Иисусу, идите скорей им навстречу: уже вечереет. И несите им какие-нибудь дары…

И вот мы бежим, бежим по большой дороге на Арль.

— Дети, куда это вы так спешите?

— Навстречу волхвам!

Мы бежим в наших провансальских колпачках,

---

[12] Примечания: 12
Мф. 2:1–2.

в маленьких деревянных сабо, с бьющимся от радости сердцем, жадно глядя в даль, в нашем воображении уже полную дивных видений, прижимая к груди наши дары: лепёшки (для самих волхвов), сушёные фиги (для их слуг и рабов), пучки сена (для их верблюдов)… Свищет ветер, холодно. Зимнее солнце склоняется к Роне. Ручьи подёрнуты ледяной коркой, трава по их берегам помёрзла. Краснеют безлиственные ветки ив, по ним зябко прыгают красношейки… И ни души кругом — разве какая-нибудь бедная вдова с вязанкой сухого хвороста на голове или старик в лохмотьях, который шарит под колючим кустом: не попадется ли улитка?

— Куда это вы, дети, так поздно?

— Навстречу волхвам!

И опять вперёд, ещё резвей и веселей, вприпрыжку, бегом — по бесконечно белеющей дороге, выметенной зимним ветром. Крик, песенки, смех, головки назад — совсем молодые петушки…

А день уже на исходе. Колоколенка Майана давно скрылась за чёрными остриями кипарисов, кругом только голая, пустая равнина. Мы зорко рыщем по ней глазами: ничего, кроме игольчатых клубков перекати-поля, что мчит, крутит

ветер по жнивью!

Впрочем, порой встречался какой-нибудь запоздалый пастух, который, завернувшись в свой истрёпанный плащ, гнал домой свою отару.

— Дети, куда это вы в такую пору?

— Навстречу волхвам… Не можете ли сказать, они ещё далеко?

— Навстречу волхвам? Ах да, правда-правда, нынче ведь канун их праздника… Они уже близко, вы их вот-вот встретите…

И опять вперёд!

Но вот и совсем вечер. Солнце, преследуемое зимними облаками, спускается всё ниже и ниже. Мы смолкаем, нам уже немножко жутко. Ветер ещё резче дует навстречу, мы бежим уже не так резво… И вдруг:

— Вот они!

Из груди у нас всегда вырывался в этот миг безумно радостный крик — и дивное, царственное великолепие ослепляло наши глаза: блеском, торжеством роскошнейших красок вдруг загорался запад. Там полосами пылал пурпур, золотом и рубином горел солнечный венец, раскидавший в зенит неба свои длинные зубцы-лучи…

— Волхвы! Волхвы! Видите венец, корону? Вон мантии, знамена! Вон кони и верблюды!

И мы замирали в изумленье, в восторге. Но не проходило и минуты, как всё это великолепие, вся эта слава и роскошь гасли, исчезали, и мы снова, в большом разочаровании, оказывались одни, в сумерках, в поле.

— Где же они, где?

— Прошли за горами!

Стонала совка. Нас охватывал страх. Мы со страхом спешили назад, домой…

— Ну, что же, видели волхвов? — спрашивали нас дома.

— Нет… Они прошли далеко, за горами.

— А вы шли по какой дороге?

— По дороге в Арлатан.

— Ах, дурачки, дурачки! Там волхвов никогда не встретишь, нужно было идти по старой римской дороге… А если бы вы знали, что это за красота, когда они входят в Майан! Трубы, барабаны, слуги, рабы, верблюды… Теперь они уже в церкви, в вертепе, поклоняются Младенцу Иисусу. После ужина бегите скорей в церковь…

И мы наспех ужинали, бежали в церковь. Церковь была уже полна, блистала огнями алтаря, звездой, сиявшей над ним, и ярко озарённым вертепом, где волхвы в своих разноцветных мантиях — красной, синей и жёлтой — уже поклонялись

Младенцу Иисусу, полагали перед Ним свои дары: Гаспар — злато, Мельхиор — ладан, Валтасар — смирну… И, как только мы входили, пробирались вперёд между женских юбок, орган, сопровождаемый пением всех молящихся, медленно зачинал, а потом широко и грозно раскатывал свои мощные звуки величавый рождественский гимн:

Нынче, в утренний час,
Встретил я на большой дороге
Караван трёх великих волхвов…

1931

И. Потапенко. Бурная ночь
Рождественский рассказ

Осень затянулась до того, что счастливые жители юга отчаялись когда-нибудь увидеть снег — не тот лапчатый сероватый снег, что падал уже несколько раз лишь для того, чтобы в тот же миг растаять и образовать чёрную жидкую грязь, а снег настоящий, белый, как молоко, густым слоем серебрящий всю окрестность, — снег, позволяющий выпрячь лошадей из телег, бричек и двухколёсных «бед» и запрячь их в полозья и сани и ехать на ту сторону Днепра, жать и возить в дома камыш, заменяющий степному жителю дрова, — снег, хрустящий под ногами, как косточки молодого жареного цыплёнка на зубах.

Да и Днепр… Далеко уедешь по нём на санях, когда он ещё и не замерзал. Ранними утрами у берегов его появлялась тонкая ледяная плёнка, да и та к полудню тотчас же растает под лучами солнца.

Каждый день мимо села, меж раскиданных там и сям островков, на которых жили рыбаки, проходили большие пароходы от моря вверх и

сверху к морю, останавливавшиеся около городов и больших местечек.

А на дворе уже стоял декабрь, да ещё поздний. Вот уже минул и Филиппов пост и наступил канун Рождества.

— Ну и праздник же будет, — говорили, с сокрушением покачивая головами, обыватели приднепровского села Бубыри, — некуда и на Иордань выйти! Какой же это праздник?

— А ты погоди роптать на Бога, — возражали люди, умудрённые опытом, — Бог, Он знает, когда что надобно послать человеку. Может, под Иордань такой мороз затрещит, что тебе трёх кожухов мало покажется.

Но пока это были одни только предсказания, которые к тому же делались не пророками, а обыкновенными жителями села Бубыри.

И как раз в это время на самом большом из островков, лежавших против Бубырей, ближе к другому берегу Днепра, произошло событие, хотя по существу своему и весьма обыкновенное, но, по обстоятельствам, призванное сыграть важную роль в жизни приднепровского села.

* * *

Случилось это накануне Рождества. С острова приплыл на узеньком каюке сам Охрим, старый родоначальник нескольких поколений рыбаков, застроивших и оплетших своими рыболовными сетями весь остров.

Лет пятьдесят тому назад он, ещё молодым человеком, поселился там с женой, когда остров был необитаем, занялся рыбачеством и наплодил целое племя. Лет ему было теперь десятков восемь, а может, и девять, — ни он, ни кто другой достоверно этого не знал.

Крепкий, плечистый, чуточку согбенный, с лысой головой и с густо обросшим какими-то серыми волосами лицом, он не казался ни слабым, ни дряхлым, спина его ещё отлично тянула лямку, когда из воды вытаскивали невод с рыбой, а голова выдерживала большие порции водки — продукт, совершенно необходимый в рыбачьем ремесле.

Причалил он свой каюк к берегу, сам поднялся на высокую кручу, в село, да прямо к батюшке, отцу Мелетию, а батюшка как раз в это время возвращался из церкви, отслужив там вечерню.

Ещё и солнце не взошло, а в воздухе было тихо и

тепло, и ничто не обещало грядущей перемены.

Батюшка — молодой, осанистый, с красивой светлой бородой, с благолепным лицом, служил в Бубырях лет десять и очень нравился своим прихожанам главным образом за то, что был красивый и представительный. Охрим встретился с ним у ворот церковного дома. Отец Мелетий узнал его, переложил свою толстую палку с серебряным набалдашником из правой руки в левую и дал Охриму благословение.

— Что это ты, Охрим, под праздник приплыл к нам? — спросил его батюшка.

— А так и есть, батюшка, собственно, к вам и приплыл, — ответил Охрим, — до вас нужду имею.

— Вот тебе и раз! Ты что же, помирать решил, так чтобы я хоронить тебя ехал? — пошутил отец Мелетий. — Так уже повремени, Охрим, пока праздники кончатся.

Охрим засмеялся батюшкиной остроте, но возразил:

— Нет, я помирать ещё подожду, само собою ежели Бог не позовёт меня. Да только на что я Ему? У Него этаких грешников и без меня достаточно… А случилось, батюшка, что у сына моего, Терёшки, вчерашнего дня родился сын; выходит

— это мне он внук. Так вот этого самого внука окрестить надо будет.

— Да когда же? Ведь праздник. Уже после праздника окрестим, — сказал батюшка.

— Оно-то так… Только очень уж слабое дитя вышло, батюшка, не знаем, выдержит ли… А оно без крещения неспособно выходит, — уж сделайте такую милость… Уж отслужу… Вот ещё и солнце не зашло… У нас в часовне купель завсегда стоит, с весны ещё, когда Федоткину дочку крестили. А я вас мигом на каюке доставлю и на остров, и обратно…

— Гм…

Отец Мелетий не решался. Сегодня попадья его наготовила множество всяких благ земных для вечерней трапезы. Племянник его приехал из семинарии на праздник. Он рассчитывал мирно провести вечер.

Вошли в ворота, а потом в дом. Охрим остался в передней, а батюшка прошёл к матушке такой же упитанной, красивой и благолепной, как и он сам, и сообщил ей о просьбе Охрима. Матушка в первый момент возмутилась.

— Помилуй Бог! Неужто и в канун Рождества тебя не оставят в покое? Подождёт этот младенец, а ежели и помрёт, так грехов у него ведь нет

никаких, а стало быть, что с него и взять там, на том свете!

— Так-то оно, так, — возразил батюшка, — да видишь ли ты, у Охрима славная свинья по двору ходит и, сколько мне известно, она недавно опоросилась, и он мне обещал одного поросёнка, а ежели я поеду, то непременно даст пару… Понимаешь?

— Ну, это совсем другое дело… Тогда, конечно, поезжай. Только не засиживайся там, потому что у меня и кутья, и взвар, и пироги, и всё прочее уже готово.

Отец Мелетий надел менее парадную рясу, захватил метрическую книгу, ризу и крест, и вскоре Охрим, сидя на корме каюка и действуя всего только одним веслом, причём он сильно напоминал старика Харона, катил его по тихим, хотя и быстро бегущим, водам Днепра.

* * *

На острове всё было готово. Батюшка проследовал прямо в часовню. Пришли кумовья с младенцем и ещё кой-кто из охриминского племени, и начался обряд крещения.

Небольшой островок со всех сторон омывался Днепром, который, наткнувшись в своём быст-

ром течении на это препятствие, делился тут на два рукава, за островком соединявшиеся опять в один.

На нём было около десятка хат, разной давности, а самая старая принадлежала Охриму. Весь песчаный берег был устлан чёрными недавно осмолёнными сетями, которые здесь сушились после вчерашнего лова.

Охримовцы работали сообща, родственной артелью, рыбу продавали в недалеко лежавшем городе и делили между собой барыши. В этом состояло всё их занятие.

На островке около каждой хаты был небольшой садочек с вишнями и грушами и маленький огород с луком, бураками и капустой. Повсюду сильно пахло рыбой, — и от земли, и от воды, и от хат, и от самих рыбаков.

Батюшка начал службу по обычному чину. Дьячка он не взял с собой и довольно просто обходился без него. Старый Охрим, который всегда, с малолетства, имел склонность к церковному пению, сам подпевал ему, где нужно, а уж он хорошо знал, где это нужно, потому что в продолжение многих лет присутствовал при крещении всех своих внучат и правнуков, которые потом становились полноправными гражданами островка.

В первое время ничего особенного не произошло. Только сквозь синие стёкла окон часовни батюшке показалось, что на западе вдруг точно выросло темное облако, которое заслонило собой заходившее солнце; но батюшка не придал этому особого значения и продолжал службу.

Но вот ему пришлось повернуться к кумовьям и стать прямо перед дверью часовни. Он посмотрел в дверь и широко раскрыл глаза. Всё небо было закрыто тучами, да какими! Они мчались по небу, словно их кто гнал кнутом, а издали доносился какой-то странный гул, точно Днепр вдруг повернулся да и понёс свои воды обратно.

— Отрицаешься ли сатаны? — спрашивал батюшка у кумовьёв, и кумовья отрицались.

— И дунь, и плюнь на него, — говорил батюшка, и кумовья исполняли всё, как полагалось, но в то же время у всех были тревожные лица.

— Кажется, буря собирается? — тихонько спросил батюшка у Охрима.

— Нет, Бог даст, пройдёт мимо, — ответил Охрим.

Батюшка продолжал, но в голосе его появились тревожные нотки. Вот уже стали ходит вокруг купели, и батюшка, при помощи Охрима, запел: «Елицы во Христа крестистеся», а голос его, обык-

новенно такой звучный, басистый и ровный, задрожал. Теперь уже явственно слышался шум и свист свирепого ветра и зловещий рокот волны.

И вдруг в то самое время, как батюшка взял у кума младенца, чтобы троекратно окунуть его в купель, в часовню ворвался сильный ветер, какая-то баба подбежала к двери и затворила её. Батюшка окунал младенца, младенец орал, а руки отца Мелетия дрожали.

«Как же это я, Господи ты Боже мой, доставлюсь домой?» — думал батюшка с величайшей тревогой и в то же время пел, как полагалось по чину: «Ризу мне подаждь светлу…»

Кончив обряд, батюшка стал снимать ризу, а ветер неистово выл вокруг часовни. Все ушли и младенца унесли, остались только батюшка и Охрим, и оба молчали.

— Что ж мы теперь будем делать, Охрим? — спрашивал батюшка.

А Охрим только крестился.

— Да уж это как Господь Бог укажет, повременим… Авось, и утихомирится… Пожалуйте в горницу, батюшка, закусить…

— Какая же теперь закуска, Охрим? Нынче сочельник, меня попадья ждёт.

— Да это, батюшка, само собою… А пока что

пожалуйте закусить…

Они вышли из часовни. Охрим затворил дверь и задвинул тяжёлый засов. На дворе была совершенная тьма. Небо, залитое свинцом, казалось непроницаемым, неистовый ветер дул на них как-то со всех сторон разом, высоко поднимая полы батюшкиной рясы, сдувая на сторону его роскошную бороду, развевая по ветру его длинные шелковистые волосы.

А сверху сыпалось что-то странное, не то холодный дождь, не то снег, не то крупа какая-то. Вдали, там, где бесконечно широкой лентой тянулся Днепр, то там, то здесь, среди глубокого мрака поднимались и мелькали высокие белые гребни, и слышались рёв и стон.

— Вот она, зима-то, когда пришла!.. — сказал Охрим.

— Что ж мы будем делать? — спросил отец Мелетий дрожащим голосом.

— А что Бог даст, батюшка. Пожалуйте, пожалуйте в хату.

Батюшка как-то духовно ослабел и без протеста подчинился приглашению Охрима. В его хате было много народу — и все родня. Бабы возились около стола, на котором были приготовлены пироги и жареная рыба. Все стояли, не решаясь

сесть без Охрима и без батюшки.

Отца Мелетия усадили за стол, что-то он пил и что-то ел машинально, благословлял трапезу, но душа его была в величайшем беспокойстве. Знал он дурную привычку старого Днепра. Раскачает он свои глубокие воды и уже будет свирепствовать не одну и не две недели, особенно в такую пору года.

— А поди-ка, погляди, как погода… — не раз говорил батюшка и, кто-нибудь выбегал из горницы и возвращался и говорил:

— Да всё так же: стонет и ревёт.

Вышел наконец и сам батюшка и, со страшным усилием борясь с ветром, приблизился к берегу. По ту сторону уже не видно было огней. Деревня заснула, а может быть, и совсем снесло её с лица земли. Потемнела река и слилась с темнотой ночи — ничего нельзя было разглядеть. Только слышалось клокотанье воды да сыпались на берег брызги от волн, разбивавшихся о камни.

— Эх, Охрим, Охрим, — с упрёком восклицал батюшка. — Что же это ты со мной сделал и зачем это я тебя послушался?..

Охрим стоял, глубоко задумавшись и низко опустив свою старую, видавшую много бурь, голову, и думал о том, что в самом деле он страшно

виноват не только перед батюшкой и матушкой, но и перед всей деревней. Да, он виноват, потому что он прожил на острове больше полувека и знал, что такое тихая погода в декабре и сколько на неё можно рассчитывать. Не раз и не десять раз, а может, и не сто, бывало, что застигнет такая буря рыбака среди реки, и один только Бог знает, как он спасает свои кости.

И вот он — старый, умудрённый рыбачьим опытом, под такой великий праздник заманил батюшку на остров, где в зимнюю пору по нескольку недель приходится сидеть без всякого сообщения с тем берегом, да и со всем Господним миром…

И вдруг старый Охрим тряхнул головой.

— Э, что тут! У нас есть руки, а у вас, батюшка, крест. Коли Бог не судил, так и буря не возьмёт. Эй, рыбаки, тащи сюда все каюки, и дубки, и шеланды, какие есть, да собирайтесь все сюда… Посадим мы батюшку в самый большой дубок и окружим его нашими лодками… Нельзя, чтобы в такой великий праздник церковь была без батюшки.

* * *

Это было безумное распоряжение, но никто из потомков Охрима не посмел ослушаться. Заше-

велился остров. Из разных затонов тащили на верёвках лодки всевозможных форм, большие и малые. Замелькали огни в фонарях. У всех явился какой-то необычайный подъём духа, все чувствовали, что исполняют какой-то важный долг.

Тесно сплотились лодки и составили странную, необыкновенную флотилию, и началась борьба. Днепр не так страшен оказался на середине, как у берегов. Волны ударяли в боковые лодки, но к этому рыбаки были привычны. Тихо двигалась необычайная ночная процессия. Батюшка сидел в большом глубоком дубке, окружённом другими лодками, он держал перед собою крест, и ему было хорошо. Лодки рыбаков защищали его от волн. Все работали вёслами молча, сосредоточенно, ежеминутно крестясь и шепча молитвы.

А старый Охрим сидел на самой передней лодке, держа в руках два фонаря, и оттуда от времени до времени раздавалась его команда:

— Левей! Правей! Напирай… Волна идёт… Держись!

И вот, освещённый дрожащим слабым огнём фонарей, показался берег. Всё ближе и ближе. Вот уже под вёслами чувствуется твёрдая земля, а вот наконец лодки останавливаются у самого берега.

Рыбаки высадили батюшку, а лодки, сколько

было возможно, втащили на песок, вбили колья и привязали их тут. Батюшка жил недалеко от берега. Быстро взобрался он на вершину. Охрим с фонарями провожал его.

Вот невдалеке виднеется церковь, а рядом с нею церковный дом. Какая-то беспокойная тень мелькает неподалёку от дома. Ещё минута, и рыдающая матушка кидается к отцу Мелетию. Она уже считала его погибшим, и теперь ей кажется, словно она нашла это сокровище во второй раз.

Небывалое зрелище представляла столовая отца Мелетия в этот вечер. Часы показывали около полуночи. За длинным столом, уставленным всевозможными яствами, какие полагаются для этого вечера, сидел батюшка с матушкой и с племянником и десяток рыбаков, с Охримом во главе. Все они иззябли и проголодались, никто не считал время, когда они плыли через Днепр, но теперь оказалось, что путешествие это длилось добрых два часа. Батюшка обогрел их, накормил, и они остались у него ночевать, а на другой день, когда буря всё ещё выла и Днепр продолжал сердито ворчать, выбрасывая на поверхность свои белые гребни, они все молились у заутрени и обедни.

Было и ещё одно обстоятельство, которое имело

прямое отношение к этому событию, хотя оно случилось несколько позже.

Когда через неделю после этого буря смолкла, Днепр покрылся толстой ледяной корой, по которой стали ездить на санях, а молодежь села Бубыри уже занималась вырубкой крестообразной проруби для предстоящей иордани, Охрим самолично явился в церковный дом, неся на спине довольно объёмистый мешок.

Это был необыкновенный мешок: он всё время двигался и прыгал на его старой спине, точно живой, и оттуда раздавались какие-то необыкновенные визгливые звуки.

Придя в церковный дом, Охрим сказал:

— А вот вам, батюшка с матушкой, и моё обещанное… Дозвольте куда-нибудь выпустить…

И получив дозволенье, он отправился в сарай и выпустил из мешка трёх великолепных четырёхнедельных поросят и сказал:

— Когда эти поросята вырастут в настоящих свиней и вы, батюшка с матушкой, будете кушать сало и колбасы от них, то покорнейше прошу вас, поминайте старого рыбака Охрима и про то, как он хорошо умеет командовать рыбачьими кораблями, и про то, как мы с вами плыли по Днепру в ночь под Рождество Христово. Вот этот первый — давно обещанный, а второй — за услугу, а третий — на память о той ночи.

1903

А. Н. Толстой. Ёлка

В гостиную втащили большую мёрзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево наконец подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зелёная верхушечка согнулась под потолком.

От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви её оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к ёлке стулья и стали её убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные верёвочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола.

Настал сочельник. Ёлку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки. Когда всё было готово, матушка сказала:

— А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывать.

В этот день обедали поздно и наспех — дети ели только сладкое — шарлотку. В доме была суматоха. Мальчики слонялись по дому и ко всем приставали — скоро ли настанет вечер? Даже Аркадий Иванович, надевший чёрный долгополый сюртук и коробом стоявшую накрахмаленную рубашку, не знал, что ему делать, — ходил от окна к окну и посвистывал. Лиля ушла к матери.

Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилалось мглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашёл у себя на постели синюю шёлковую рубашку, вышитую ёлочкой по вороту, подолу и рукавам, витой поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо.

В зеркале Никита увидел нарядного и благонравного мальчика. Неужели это был он?

— Ах, Никита, Никита, — проговорила матушка, целуя его в голову, — если бы ты всегда был таким мальчиком.

Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел

важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах, и шесть пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту.

— Ты что думал — это привидение, — сказала она, — чего испугался? — и прошла в кабинет и села там с ногами на диван.

Никита тоже вошёл за ней и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкапами.

Лиля сидела не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались её щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать.

Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом, в гостиной, было слышно, как матушка и Анна Аполлосовна разворачивали какие-то свёртки, что-то ставили на пол и переговаривались вполголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щёлка была заложена

бумажкой.

Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом:

— Звезда взошла.

И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла ёлка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от неё шёл густой, тёплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками.

Дети стояли неподвижно, потрясённые. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, жёлтых рубашках, в жёлтых, алых, белых платочках.

Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к ёлке улыбающееся лицо и запела:

Журавлины долги ноги
Не нашли пути-дороги…

Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи, в синих глазах её, в каждом глазу горело по ёлочке. Дети стояли не двигаясь.

Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг ёлки. Полы его сюртука развевались. Бегая, он прихватил ещё двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и наконец все дети закружились хороводом вокруг ёлки.

Уж я золото хороню, хороню,

Уж я серебро хороню, хороню… —

запели деревенские.

Никита сорвал с ёлки хлопушку и разорвал её, в ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, зашуршали колпаки из папиросной бумаги.

Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щёки её разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она всё время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под ёлкой на корзинке с кукольным приданым.

Там же, под ёлкой, лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завёрнутые

в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита — кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст.

Теперь было слышно, как щёлкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками.

Матушка опять заиграла на рояле, вокруг ёлки пошёл хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Ёлка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай.

Но Аркадий Иванович и тут не успокоился — устроил цепь и сам впереди, а за ним двадцать пять ребятишек, побежал обходом через коридор в столовую.

В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами.

Лиля спросила:

— Ты чего смеёшься?

— Это ты смеёшься, — ответил Никита.

— А ты чего на меня смотришь?

Никита покраснел, но пододвинулся ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал её. Она сейчас же ответила

скороговоркой:

— Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет. — Повернулась и убежала в столовую.

После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец один совсем маленький мальчик, в рубашке горошком, задремал, свалился со стула и начал громко плакать.

Матушка сказала, что ёлка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз.

Никита пошёл провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень.

Никите казалось, что он идёт во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

Из повести «Детство Никиты». 1920

Д. В. Григорович. Зима

Метель, поднявшаяся в ночь, утихла. Ветер падал с каждой минутой, разбивая хребты сизых туч, заслонявшие небо. Быстро бежавшие тучи открывали то тут, то там мутно-желтоватые пятна. Светлей и светлей становилась окрестность; вдруг ветер дунул сильнее, и, откуда ни возьмись, глянуло солнышко… Мигом всё приняло другой вид. Ослепительной белизной окинулась улица; ещё ярче сверкнули на тёмном небе занесённые снегом избушки с их белыми кровлями и резными подоконниками, увешанными льдяными сосульками, сиявшими, как алмазы. Разом всё оживилось. Заскрипели ворота и прикалитки. На улице показалась баба, закутанная так, что внаружу выглядывали один красный нос да посиневшие от стужи руки, которыми поддерживала она валёк и коромысло. За нею, из разных концов, выползли ребятишки, едва тащившие в мягких сугробах отцовские полушубки; немного погодя, сбились они в кучку; составился кружок; появилось решето, облитое льдом, с привязанною к боку верёвкой; в него уселась девчонка, еле-еле

дышавшая из-под взгромождённого на неё кожуха; толпа схватилась за верёвку, раздался крик, и вот уже понеслась она, только снег столбом да ветер с морозом навстречу.

Почти в то же время, на другом конце деревни, остановились широкие пошевни, запряжённые вороной кудластой клячей, подле которой бежал долговязый жеребёнок. Из саней вылез Демьян. Прежде всего он отряхнул кожух и шапку, провёл варежками по напудренной инеем бороде и наконец принялся отворять околицу. Затем он взял лошадь под уздцы и пошёл шагом по улице.

— Ну, должно быть, в городе-то мятелица была не гораздо пуще здешней, — ишь какие намела сугробы! — произнёс Демьян, останавливаясь в недоумении перед своими воротами.

Он отгреб кой-как снег, въехал на двор, вынул из пошевней кусок мёрзлой говядины, потом узелок, завязанный в клетчатый платок, и, не распрягая лошади, вступил в сени.

Тут мужик принялся шарить по всем углам, отыскал плетушку, куда сажают кур на яйца, сунул в неё украдкою узелок и повернулся к двери, обрамлённой седой бахромой мёрзлого пара.

Дверь скрипнула, и Демьян, похлопывая лаптями и рукавицами, весело вошёл в избу.

— Здравствуй, родной, что так поздно? — вымолвила старуха, выглядывая сначала из-за печурки и тут же выбегая к нему навстречу.

— Здорово, хозяйка! — произнёс Демьян, отряхиваясь с головы до ног. — Спрашиваешь: поздно зачем?.. А выехал я из города чем свет, да така-то мятель, вьюга поднялась, ни зги не видно; со мной, как назло, ввязался жеребёнок; что станешь делать!.. Вернулся назад, обождал, ну да теперь недосуг мне с тобой калякать. На, возьми, — присовокупил он, подавая ей говядину. — Подкинь её в щи, да ступай скорей ко мне.

— Ах ты, Господи! Намедни барана зарезали, а он вишь чего… говядину покупать задумал! Аль денег тебе девать некуда, куры у те их не клюют, что ли? — заворчала старуха.

— Ну вот, лиха беда! Щи послаще зато будут! — возразил, смеясь, Демьян.

Заметно было по всему, что он находился в отличном расположении духа.

— Ну а молодые-то наши где? — спросил мужик, озираясь на стороны.

— Вестимо, не сидеть им без дела, — ворчала жена, роясь подле горшков. — На гумно пошли — молотят…

— Ладно, ладно, ступай сюда, — продолжал

муж, торопливо сбрасывая с себя верхнюю одежду и развешивая её на стан, занимавший чуть не половину избы.

Он подошёл к столу, вынул из-за пазухи длинный кожаный кошель и бережно высыпал на скатерть казну свою, состоящую из замасленной, истасканной пятидесятирублёвой ассигнации и нескольких просверлённых, истёртых гривенников и пятиалтынных, между которыми виднелся орех-двойчатка, положенный туда, вероятно, для счастья и прибыли.

— На-ка, возьми её, хозяйка, да подшей хорошенько тряпицей, — сказал он, подавая жене ассигнацию. — Это, чего доброго, и в конторе её не примут, ишь какая истрёпанная, опять в город придётся ехать, здесь не разменяешь, садись скорей.

В то время как старушка примостилась к окну с иголкою и тряпьём, Демьян натянул на плечи полушубок, подпоясался новым кушаком и снял с шестка новую шапку, подаренную ему молодою.

— Готово?.. Давай! Время идти… Да вот что: неравно запоздаю там, вели Петрухе, как вернётся, убрать лошадь; она стоит, сердечная, нераспряжённая, — сказал Демьян, торопливо завертывая ассигнацию и направляясь к двери.

Он вышел на улицу и побрел частым шагом в контору.

В конторе пробыл он ещё долее, чем думал, хотя явился ранее многих других. Народу толкалось множество; наступил последний срок взноса оброка; каждому следовало получить расписку; к тому же и год подходил к исходу, — предметов для россказней нашлось множество. Демьян заболтался и кончил тем, что вышел из последних.

Несмотря, однако ж, на то, радость и довольство сияли во всех чертах мужика, когда он вновь очутился на улице.

Трудовой год, слава Господу Богу, минул благополучно; оброк внесён сполна; в домишке осталось ещё рублишков с тридцать про случай; и хлебушко есть, и гречишка есть, и сына-то поженил; хозяйка молодая, сноха, выпалась не вздорная какая, а лихая, работящая бабёнка, да такая смирная, что воду не замутит, — чего же больше и как взаправду не порадоваться?..

Душа Демьяна плавала, словно в масле; подбоченясь, шёл он по улице, не переставая ухмыляться в бороду и посматривая то в ту сторону улицы, то в другую.

И вокруг всё как-то улыбалось ему.

Весело глядела сиявшая на солнце улица; весе-

ло улыбались охваченные светом избушки с их резными подоконниками, увешанные ярко горевшими сосульками… Демьяну было так легко, так весело на сердце, что, встретив гурьбу ребятишек с решетом и сидевшею в нём девчонкою, он никак не мог утерпеть: захлопал в ладоши и крикнул, притопывая ногами: «Эх, терех-тех-тех! У-ту-ту, погоняй, не стой!..» В другой раз, уже у самого дома, он ни с того ни с сего снял шапку и гаркнул: «Здорово, сват!» — какому-то мужику, который, по дальности расстояния, конечно, не мог слышать приветствия.

Войдя в сенички, он покосился на плетушку: тут ли она, — и, натопавшись вволю, отворил двери избы.

Запах жирных щей с говядиной порадовал Демьяна немало; да и всё вокруг как-то радовало.

Золотой луч солнца, проникая в окно, играл на полу и, захватив на пути часть стола и лавки, отражался на потемневшей медной ризе старой иконы.

На лавочке, подле окна, сидела Параша, повязанная по-бабьему; против неё торчал кленовый высокий гребень с белым пучком льну, из которого тянула она левою рукою длинную, дрожащую нитку; в другой руке её гудело, подпрыгивая,

веретено, которым играл пёстрый котенок; шуму веретена отвечало мерное пощёлкивание челнока-стана, за которым сидел Пётр. Подле него, на полу, два маленькие брата возились шумно с поленом, обращённым, с помощью привязанной к концу мочалки, в борзую лошадь. Из-за перегородки раздавался весёлый треск печки и торопливое беганье старушки-хозяйки, прерываемое то звяканьем кочерги или ухвата, то шипением горшка.

В избе было тепло и даже жарко.

— Э-ге-ге, да они уж дома все!.. Здорово, сношенька, как живёшь-можешь? Здорово, Петруха. Эй, парнишки, что к отцу не идёте? — говорил Демьян, останавливаясь посередь избы и обращая поочередно к каждому смеющееся лицо своё. — А я в городе был… така-то давка на базаре, насилу телушку продал.

Заслыша речь о городе, мальчики бросили полено, подобрались к отцу и начали к нему ластиться.

— Петруха, глядь, глядь, а?! — произнес Демьян лукаво, подмигивая ему на ребят. — Вишь, лакомки какие! Думали, раз привёз гостинца, так и кажинный так будет!.. Ну что, аль не верите?.. Взаправду ничего нынче не привёз.

— Привёз! Привёз! — кричали мальчики, цепляясь ему за полы.

— Ой ли! Слышь, веры ещё неймут, а? Эки прыткие!.. А разве вы мне денег дали? Откуда я их возьму!

Парнишки выпустили из рук полу и тотчас же надули губы.

Демьян покосился на Парашу, которая остановила веретено и глядела, смеясь, на мальчиков, потом покосился на Петра и, как бы ни в чём не бывало, вышел из избы в сени, плотно заперев за собой дверь.

Он вынул из узелка синий набивной платок, спрятал его за пазуху и, закрыв узел, снова вернулся в избу.

— Ну, так уж и быть, подьте сюда, шалыганы! — крикнул Демьян мальчикам, жалобно толковавшим о чём-то за печуркой с матерью. — Стойте! Эк их! Чуть с ног не сбили… погодите… Меньшой садись на край, слыхали это? — продолжал он, раскрывая узелок. — Ну, сношенька наша любезная, — присовокупил мужик, подавая ей чёрные коты, отороченные красными и жёлтыми городочками. — Вот тебе гостинец, не побрезгай, просим носить да нас миловать.

Тут Демьян поцеловался трижды с Парашей.

— Ну, ребятёнки, вот и вам!.. Любо, что ли?.. — сказал Демьян, подавая каждому пряничный конёк с сусальным золотом и делая вид, как бы не замечая старухи, которая не переставала коситься украдкою на мужа из-за своих горшков. — Хозяйка, подь сюда!.. Ну, родная, тебе, знать, не на счастье вёз гостинец; и Господь это знает, как случилось… кажись, в том же узле был и крепко как связал его, глядь, ан нету, не знать, куда девался! Должно быть, обронил его на дороге… Не посерчай, благо, не забыл и тебя — купил. Что ты станешь делать! Дал зевуна, обронил — да и полно!

Далее Демьян не мог держаться; он нагнулся к сморщенному лицу старушки, ударил себя ладонями по коленям и залился громким смехом.

— Ну, чего ты, дурень, чего?.. Что те разбирает… Ишь, ему бы всё смешки да смешки; деньги только понапрасну рассорил… Знать, много их у тебя… Чего, эх, дурень, прости Господи, право, дурень, хоть бы на старости-то лет людей посрамился…

Она не договорила далее; Демьян вынул из-за пазухи платок, тряхнул его по воздуху, набросил его на голову своей старухи и, схватившись за бока, бросился на лавку, заливаясь ещё пуще прежнего.

Все, сколько ни было в избе, последовали его примеру.

— Ну, хозяйка, на радостях-то шевелись, не ленись, поворачивайся! Что есть в печи, на стол мечи, чего нет, побожись, — давай скорей обедать! Смерть проголодался, да и все-то вы, я чай, ждали… Ну-ка-с, сношенька, собери со стола… Эх, щи-то, щи как попахивают, только слюнки текут!..

Немного погодя старуха поставила на стол горшок шипящих щей с пылу; Параша раздала ложки, нарезала хлеба, и вся семья, перекрестившись перед образом, уселась обедать.

— Ну вот, родные, и оброк внесли сполна, и год, благодарение Царю Небесному, перемогли благополучно, — произнёс Демьян, жадно прихлебывая горячих щей. — А по весне сдавалось мне, не быть такому добру, да, видно, не земля родит, а год… Помнишь, Петруха, как сумлевались мы, идучи березняком?.. Что говорить, наша доля заботная!.. Не то радоваться стать, не то плакать. То по дождю болит сердце, станет засушь — пропадёшь, думаешь; то мало его — опять беда, то града боишься, то за скотинку намучаешься вволюшку… Только вот в зиму и отведёшь душу, вздохнёшь, особливо как уродит Господь всякого

жита да всего насторожено про случай… Лиха беда, помолотиться да хворостинки припасти, а там лежи себе на печке да обжигайся, пока не заиграли овражки, не пошла капель с кровель, да не шликнет жавороночек на проталинке; а там опять пошёл крестить нивку да почёсывать затылок, глядя на тучку али на солнышко!.. Нет, нынче грешно говорить, год вышел хороший; не знаю, как-то Господь пошлёт будущий…

— Надо, кажись, быть хорошему, касатик, — возразила старуха. — В сочельник вышла я за ворота, гляжу так-то: небо синее-синее, звёздам перечёту нет, так и горят, словно угольки какие…

— Давай Бог, чего много просить! Был бы такой, как нынешний, много довольны были бы Господом Богом! Вот, — прибавил он, шутливо трепля по плечу Парашу, — и молодую хозяюшку нынче нажили! Мотри, сношенька наша любезная, живи так, чтобы нам, старикам, не каяться… а тебе жить в любви с парнем нашим, не маяться!.. Так, что ли, Петруха?..

Пётр усмехнулся и поглядел на жену, которая, опустив глаза, зардела, что мак алый.

— Ну, теперь, я чай, и вздохнуть пора: смерть умаялся с дороги; печь-то добре горяча; ай да

хозяйки — уважили! — произнес Демьян, выходя из-за стола.

Он перекрестился, снял с шестка кожух и полез на печь порасправить старые косточки. Немного погодя в потемневшей избушке сверкнула лучинка; снова загудело веретено, снова раздалось мерное пощёлкивание челнока; старушка подсела к Параше, ребятишки присоединились к ним вместе с котёнком — и полились тихие речи, под шумом веретена и прялки, которою управляла подслеповатая хозяйка. Время от времени всё смолкало в избушке; каждый, и малый и большой, прислушивался чутким ухом к треску мороза, который стучал в углы и ворота, — и снова гудело веретено, снова продолжались мирные речи…

Быстро проходит зимний вечер за лучиной: ребятишки уже давно прикорнули под образами на лавке; старушка, начинавшая кивать головою, отправилась на печку; Пётр и Параша взмостились на тёплые полати; лучина угасла; и вскоре всё смолкло в избушке Демьяна.

Один лишь сверчок-полунощник тянул дребезжащую песню свою… тише, тише… вдруг остановится, прислушается к мурлыканью котёнка, свернувшегося клубочком под печуркой… и снова трещит неугомонная песнь его всю ночь, вплоть до самого света…

Из повести «Четыре времени года».

1849

Е. Н. Поселянин. Святочные дни

Мысль, что всё случившееся с вами прошло безвозвратно и не может повториться, придаёт какую-то тихую грусть вашим воспоминаниям, и тем большую грусть, чем дальше эти воспоминания уходят.

Так и я тихо и грустно переживаю иногда мои детские годы и с тоскою смотрю на невозвратимые картины, которые никогда не возвратятся уже потому, что многих, многих людей того времени, мне близких, уже нет.

Воспоминания моего детства, относящиеся к Рождеству, связаны почему-то с представлением чрезвычайных холодов. Я вырос в Москве, и в моём детстве морозы за 25 градусов в декабре и январе не были редкостью. Конечно, нас в такие дни не посылали гулять, как это водилось ежедневно при нашем размеренном и строгом воспитании.

Что-то волшебное, живое чудилось в этих морозах. Бывало, если взгляды русского учителя и француженки, постоянно за нами следивших, не были очень зорки, подойдёшь в детской к

большому окну, станешь рассматривать заиндевевшие стёкла. На них столько узоров нарисовал затейливый чудодей мороз: все шире и шире из узоров белых звёздочек вырастает какое-то царство, какие-то тихие, вдаль уходящие сказки. И так замечтаешься Бог знает о чём, пока тебя с упрёком не отведут от окна.

Когда опускали шторы и зажигали огни, то от мороза ставили к окнам большие старинные ширмы, и в комнате тогда, в нашей громадной детской, становилось ещё уютнее.

Комната эта была перерезана во всю её длину большой гимнастикой, по которой мы постоянно лазили, как белки, приобретая большую ловкость. В двух углах комнаты и по стенам были конюшни, где стоял разнообразный наш скот: лошади без сёдел и с сёдлами, из которых одни снимались с лошадей, другие были к ним прикреплены; коровы, ослы, повёрнутые головами к кормушкам. Были в комнате и старинные поместительные кресла с дубовыми рамками, в которых могли зараз помещаться нас несколько человек. Эти кресла, вместе со старинными стульями красного дерева с уходящими назад спинками, изображали, когда это требовалось, и корабли, и леса, и большие дорожные кареты, в

которых едут путешественники, поджидаемые разбойниками.

Ещё помню я стол, имевший вместо одной обыкновенной доски внизу ещё вторую такую же сплошную, как верхняя, для того чтобы на неё могли упираться короткие детские ноги. В пространстве между этими двумя досками было очень удобно прятаться, и чувствовалось там очень уютно. Этот стол имел тоже большое значение в наших играх.

Когда я себя ещё очень мало помню, Рождество представлялось мне каким-то особенным временем наплыва сладких вещей.

Потом я стал помнить торжественную всенощную, громкое пение, тяжёлые паникадила в огнях, тяжёлые золотые ризы, клубы ладана, расстилающегося в храме, и над всем этим мысль о Младенце, Который только что родился и Который есть Бог.

Я чувствовал под этими напевами, под этой захватывающей церковной обстановкой какую-то приходящую с неба тайну, и тайна эта звала и обещала.

Было одно Рождество в моём семилетнем возрасте, которое я не забуду никогда, потому что оно было предварено несколькими, мало, может

быть, видимыми событиями, которые, однако, оставили во мне глубокий след.

Наш отец, который был человек чрезвычайно занятой и не мог никогда присутствовать на наших уроках, захотел посмотреть, как и чему нас научили. Вместе с тем он пригласил к этому экзамену несколько родных и придал всему торжественную обстановку. Экзамен происходил у него на половине, куда мы никогда не смели ходить сами и куда нас приводили два раза в день утром и вечером, здороваться и прощаться с отцом. Я помню большой стол, покрытый зелёным сукном, каких-то незнакомых нам учителей и профессоров, какого-то важного протоиерея. После экзамена, который прошёл прекрасно, был большой обед, и нам подарили великолепные книги.

Но в тот же вечер со мной совершенно незаметно произошло такое обстоятельство, которое заложило в моей душе тёплую любовь к русской церковности.

Среди объявлений иллюстрированных изданий, рассылаемых перед Рождеством, к нам в дом попал один лист, на котором был изображен митрополит Филипп перед Иоанном Грозным. Доселе ещё я живо помню этот несколько размазанный

чёрный рисунок: Филиппа, не сводящего строгого взора с лика Спасителя, царя, гневно перед ним стоящего и упирающегося на жезл, и толпу опричников. Не знаю, кто мне объяснил содержание картинки, но подвиг Филиппа возбудил во мне необыкновенный, хотя и молчаливый восторг. Я никому не рассказал о том, что пережил, но несколько дней ходил, всё думая о Филиппе.

В самый вечер экзамена нам сделали ванну, а я с детства любил звук падающей и плещущей воды. Сидя в ванне, производя нарочно руками движение, чтобы вода плескалась, переживая в это время ощущение необыкновенной уютности, я весь переносился в такой же студёный зимний вечер в Москву, в боярский дом Колычевых, и видел Филиппа, мальчиком, отроком, при дворе великокняжеском, взрослым, в одежде простолюдина уходящего из Москвы.

На другой день вечером отец забрал нас всех в сани и повёз по городу делать разные закупки, между прочим подарки для нас. Но, когда мы вернулись домой, пришла неожиданная весть.

У нас была старая няня Марья Андреевна, почтенная, видная собою, медлительная в движениях и очень любящая старушка, которая вынянчила нас всех и жила на покое у своей

сестры, имевшей маленький домик на окраине города. Мне до сих пор представляются её седые волосы из-под гофрёной рюши белого чепчика, достойный, тихий взгляд её светлых глаз. Она обыкновенно приходила к нам на все большие праздники, в дни именин и рождения каждого из детей, так что мы ждали её скоро.

Между тем, когда мы вернулись домой, у нас сидела её сестра и сказала, что Марья Андреевна внезапно скончалась.

Я уже был тогда уверен в бессмертии души и с детской наивностью полагал, что душа первое время по разлучении с телом видимым образом ходит по тем местам, где она жила, и я поджидал, что Марья Андреевна придёт к нам в комнату ночью и не мог спать ни в эту ночь, ни в ближайшие ночи. По случаю холода нас не взяли на похороны, и я с ужасом представлял себе, как няню Марию Андреевну опускают в холодную, мёрзлую землю, в могилу, которую, как говорили старшие, еле могли вырыть, так застудилась земля.

И вот исчезновение близкого человека, который на днях должен был улыбнуться нам и теперь не придёт никогда, никогда, и появление на землю чудного Младенца: эта смерть и эта жизнь сливались в одну общую тайну, образуя, быть мо-

жет, в душе и весь земной век чувство глубокого умилённого смирения перед неразрешимыми и вере лишь понятными загадками бытия.

В первый день праздника поутру всегда являлся к отцу какой-то старик очень аппетитного вида, похожий на тех гномов с седыми бородами, которых теперь расставляют в загородных садах. Мы слыхали, что этот старичок очень бедный и что у него есть внуки. Его всегда звали в кабинет к отцу, который оставался с ним некоторое время наедине; кажется, нам говорили, что отец его знает уже не один десяток лет, и я думаю, что отец его содержал. Потому он приходил к нам и приносил какие-нибудь незатейливые игрушки в виде белых мохнатых кроликов, какие-нибудь тёплые варежки или что-нибудь ещё в этом роде. Мне всегда было страшно жаль этого маленького старичка, его старости, его тихого голоса и ласкового взгляда и того, что он пришёл в такой мороз. На Пасху он обыкновенно приносил белые сахарные яйца.

Потом наступало веселие и светская сторона праздника. К нам приезжали родные и знакомые, среди которых почему-то было мало детей, все только взрослые. Мы любили смотреть из окна на экипажи, останавливающиеся у нашего крыльца,

и обсуждать между собой, у кого из приехавших лучше лошади. У одной нашей тётки был представительный старый выездной и две быстроходные пары гнедых и белых. Мы любили разговаривать с ним о лошадях, расспрашивая его, бывают ли лошади зелёные и синие. Он уверял, что бывают, только редко.

Нас возили иногда на большие ёлки, детские праздники, где было много нарядных детей и много всяких лакомств, на костюмированные вечера. У одних знакомых показывались часто прекрасные теневые картинки для нескольких десятков собравшихся детей.

Я помню, как ни весело бывало на всех таких сборищах, после них я чувствовал какую-то тоску. В праздники я ожидал чего-то особенного, захватывающего, а всё было бледно и недостаточно. Я думаю, что много людей, способных к религиозным переживаниям, испытывают то же, пока не сумеют уйти всецело в мир веры.

Я всё ждал чего-то таинственного.

Однажды под Крещение, в чрезвычайно холодную зиму отец пришёл к нам в комнату и велел подать себе горящую у нас в детской перед образами лампадку. Потом пришли к нам за медными старинными подсвечниками, один из

которых у меня есть доселе и который имеет вид церковного шандала… Я вообразил себе, что там, на половине отца, происходит что-то совершенно необычное, именно, что он или думает умирать, или уходит в монастырь и желает проститься с детьми в торжественной церковной обстановке.

Между прочим, всё объяснилось. Он просто, не желая подвергнуть нас риску выходить на улицу и простужаться при переходе на жгучий мороз из страшно жаркой церкви, заказал всенощную на дому и потому все к этой всенощной готовил.

Холод, холод…

Я помню разговор о галках, замерзавших на лету. Помню впечатление чего-то режущего в те полминуты, когда нас иногда выносили, закутанных в башлыки, из крыльца, чтобы посадить в карету.

И помню я вместе с тем какой-то холод уже тогда чувствовавшегося одиночества, какую-то неудовлетворённость. И думаю теперь, что детям, лучше чем их возить на праздники или в театры, надо больше, больше говорить о Христе, показывать картинки, изображающие Христа беспомощным младенцем. Надо раньше думать об утолении той жажды, жажды палящей, жажды, иссушающей душу, которая ждёт некоторых

детей с первых сознательных годов и утолит которую ребёнок только тогда, когда Христос возьмёт его на Свои руки, как взял некогда младенцев, принесённых к Нему.

Л. Андреев. Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всём теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдёт год, и ещё год, и ещё год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его ещё больше и орал без слёз, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он

сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орёт, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощенья, щенок», — и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил её за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами, и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком чёрном строении, стоявшем поперёк улицы, на выезде, зажёгся красноватый немигающий огонёк. Мороз усилился, и, когда Сашка прохо-

дил в светлом круге, который образовался от зажжённого фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

— Где полуночничаешь, щенок? — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у неё были засучены, обнажая белые толстые руки, и на безбровом плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо неё, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

— Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошёл за перегородку, где слышалось тяжёлое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскалённой лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

— Сашка! А тебя Свечниковы на ёлку звали. Горничная приходила, — прошептал он.

— Врёшь? — спросил с недоверием Сашка.

— Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

— Врёшь? — всё больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели после его исключения показываться к ним. Отец ещё раз побожился, и Сашка задумался.

— Ну-ка подвинься, расселся! — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: — А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если ещё я к ним пойду. «Испорченный мальчик», — протянул Сашка в нос. — Сами хороши, антипы толсторожие.

— Ах, Сашка, Сашка! — поёжился от холода отец. — Не сносить тебе головы.

— А ты-то сносил? — грубо возразил Сашка. — Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ёжился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но, когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила всё, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил

непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки её всё тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними весёлые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съёжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у неё на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

— А я тебе говорю, что ты пойдёшь! — И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

— А я тебе говорю, что не пойду, — хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

— Изобью я тебя, ох, как изобью! — кричала мать.

— Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замёрзнет, чем пойдёт к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

— А ещё отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

— Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? — отозвался тот с лежанки. — Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина ещё рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он ещё служил в земской статистике и ничего не пил. Разошёлся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и всё, что связывалось с прошлым её мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

— Может быть, и мне что-нибудь с ёлки принесёшь, — продолжал отец.

Он хитрил, — Сашка понимал это и презирал

отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

— Ну ладно! — буркнул он. — Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей ещё не пускали в залу, где находилась ёлка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошёл к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста ещё не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивлённые глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузьё? На! — протянул мальчик ружьё с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвёл пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись ещё шире, и в них показались слёзы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

— Злой… Злой мальчик.

В детскую вошла молодая красивая женщина с гладко зачёсанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

— Вот этот, — сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему её лысому господину. — Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил её, а она вышла за другого, и, хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

— Дурная кровь, — вздохнула Софья Дмитри-

евна. — Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

— Не хочу, — коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

— Что же, братец, в пастухи хочешь? — спросил господин.

— Нет, не в пастухи, — обиделся Сашка.

— Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

— Мне всё равно, — ответил он, подумав, — хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевёл глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришёл в непонятное ей раздражительное состояние.

— Я хочу и в ремесленное, — скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

— Но едва ли вакансия найдётся, — сухо за-

метил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. — Впрочем, мы ещё посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая ёлки. Опыт с ружьём, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашёл себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

— Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазёнки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещённую залу и тихо обходили сверкающую ёлку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим её восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетённой голубой ленточкой хлопала по её плечам. Сашка был угрюм и печален — что-то нехорошее

творилось в его маленьком изъязвлённом сердце. Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг неё чистенькие красивые дети, и ему хотелось толкнуть её так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной жёлтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращённой к нему стороне ёлки, которая была освещена слабее других и составляла её изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружаю-

щие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще тёмных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нём печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем всё остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый… милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далёк и непохож на всё, что его здесь окружало. Другие игрушки

как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей ёлке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в тёмной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

— Милый… милый! — шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он ещё здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка — важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачёсанных волос. Дети окружили её с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у неё на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошёл и Сашка. Горло его перехватывало.

— Тётя, а тётя, — сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило ещё более грубо, чем всегда. — Тё… Тётечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул её за платье.

— Чего тебе? Зачем ты дёргаешь меня за пла-

тье? — удивилась седая дама. — Это невежливо.

— Тё… тётечка. Дай мне одну штуку с ёлки — ангелочка.

— Нельзя, — равнодушно ответила хозяйка. — Ёлку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

— Я раскаиваюсь. Я буду учиться, — отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

— И хорошо сделаешь, мой друг, — ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

— Дай ангелочка.

— Да нельзя же! — говорила хозяйка. — Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и, когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на её черное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда

получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку всё-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дёрнул тётку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

— Да ты с ума сошёл! — воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. — Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на неё и грубо потребовал:

— Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на её губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

— Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, — поучительно добавила седая дама, — не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только

перед Богом.

«Толкуй там», — думал Сашка, стараясь опередить тётку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в неё глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

— Красивая вещь, — сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. — Кто это повесил её сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, — солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

— Ну на уж, на, — с неудовольствием сказала она. — Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряжёнными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

— А-ах! — вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда ещё не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

— А-ах! — пронёсся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая ёлка, — и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съёжившись, как готовящаяся к прыжку

пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

— Я домой пойду, — глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. — К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет её с трудом проникал через закопчённое стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

— Хорош? — спрашивал шёпотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

— Да, в нём есть что-то особенное, — шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

— Ты погляди, — продолжал отец, — он сейчас полетит.

— Видел уже, — торжествующе ответил Сашка. — Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдёрнул руку и тёмными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

— Экая, братец, у тебя привычка скверная за всё руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а всё окружающее — бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, — все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и всё это чистое нашло приют в душе её, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку её дорогие пальцы, которые он хотел бы

целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнёт его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была его душа, и внёс луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в чёрную душу человека, у которого было отнято всё: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и чёрный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Всё добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную про-

пасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

— Это она дала тебе? — прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

— А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

— Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? — задумчиво спросил отец.

— Нет, — сознался Сашка. — А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

— А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь всё, что было, любишь и страдаешь, как наяву…

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Всё сильнее дрожала и дёргалась она, и чуткое безмолвие

ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжёлую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

— Ах, Саша, Саша! — всхлипывал отец. — Зачем всё это?

— Ну, что ещё? — сурово прошептал Сашка. — Совсем, ну совсем как маленький.

— Не буду… не буду, — с жалкой улыбкой извинился отец. — Что уж… зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи… держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикреплённой к отдушине печки, и отчётливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба — и Сашка, и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лёг на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

— Что же ты не раздеваешься? — спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя

наброшенное на ноги пальто.

— Ни к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошёл ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомлённое лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который ещё только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопчённое стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжёлый запах топлёного воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полёта, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

11–16 ноября 1899 г.

ЛУЧШИЕ КНИГИ О БИЗНЕСЕ С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? ЛЕГКО!

Удивить своих клиентов, бизнес-партнеров, сделать памятный подарок сотрудникам и рассказать о своей компании читателям бизнес-литературы? Приглашаем стать партнерами выпуска актуальных и популярных книг. О вашей компании узнает наиболее активная аудитория.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ:

- Специальный тираж уже существующих книг с логотипом вашей компании.
- Размещение логотипа на супер-обложке для малых тиражей (от 30 штук).
- Поддержка выхода новинки, которая ранее не была доступна читателям (50 книг в подарок).

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Рекламная полоса о вашей компании внутри книги.
- Вступительное слово в книге от первых лиц компании-партнера.
- Обращение первых лиц на суперобложке.
- Отзыв на обороте обложки вложение информационных материалов о вашей компании (закладки, листовки, мини-буклеты).



У вас есть возможность обсудить свои пожелания с менеджерами корпоративных продаж. Как?

Звоните:
+7 495 411 68 59, доб. 2261

Заходите на сайт:
eksmo.ru/b2b